

Семен Букчин

Искушение черной дырой

Роман

Санкт-Петербург
«Невский простор»
2020

УДК 821.161.3-3
ББК 84(4Бей=Рус)-44
Б91

На обложке использован

Букчин, С.В.

Б91 Испытание черной дырой / Семен Владимирович Букчин. — Санкт-Петербург : «Невский Простор», 2020. — 426 с.

ISBN 978-5-94716-426-4

В книгу, наряду с документальной повестью «Красноярск-26», входят очерки, связанные с поездками в Сербию и Швейцарию, а также публицистические материалы, статьи, фельетоны, рецензии. Последний раздел составили «прощальные слова».

Адресуется широкому кругу читателей.

ББК 84 (4 Бей=Рус)-44
УДК 821.161.3-4

ISBN 978-5-94716-226-4

© Букчин С. В., 2010.
© Оформление. Издательство «Невский Проспект», 2010.

*Тамаре – жене, другу,
спутнику на протяжении более полувека.*

I

Гейм был в никудышном состоянии. Болело все. Противно ныла, отдавая горечью во рту, печень. Грыжи шейных позвонков давили почему-то в правое плечо. А главное – сердце неровно трепыхалось, куда-то западало, пульс был прерывистый, неровный, и он в который раз подумал, что тахикардия предпочтительнее брадикардии.

И, конечно же, загрудинные боли. Впрочем, это еще неизвестно, что там болит. Сколько лет прошло после первого инфаркта, а он все не может научиться отличать, когда болит действительно сердце, а когда это ревматические, остеохондрозные боли грудной клетки. А еще говорят, что могут болеть кости, разрезанные во время операции, шунтирования, которое он прошел два года назад в варшавской кардиологической клинике сразу после второго инфаркта. Вот и разбирайся с этими чертовыми болями! Доктора советуют: примите таблетку нитроглицерина, если боль прошла – значит, болело сердце, если нет – значит, это остеохондрозная, ревматическая боль, ничего страшного. Впрочем, последнее утверждение недавно опровергла одна докторша, кардиолог из первой больницы, сказавшая ему, что ревматические боли в груди тоже небезопасны для сердца, и их обязательно нужно снимать – специальными мазями или даже элементарными горчичниками. Но вот и нитроглицерин примешь, и горчичный пластырь на грудь прилепишь, а толку нет, боль не исчезает, и понять, что с тобой происходит, невозможно.

Темная вещь – медицина, и доктора в этом лесу – такие же страдалцы, как и их пациенты. Только держатся увереннее. Зато, когда тебе хорошо – это ты ясно понимаешь. Тебе хорошо! Почти ничего не болит... Но когда плохо...

Одним словом, Гейму было плохо, и разобраться в этом

не было никакой возможности. Впрочем, истоки плохого состояния были ясны. Он переработался, переутомился, устал смертно, донельзя! Свалил гигантскую работу – театральный том Власа Дорошевича.

Эта зависимость от Дорошевича угнетала его много лет. Иногда он казался себе похожим на того одичавшего старика Покровского, с которым столкнулся в юные годы в Москве. Того также в юности поразила исключительная талантливость «короля фельетонистов», и он просто сошел с ума, помешался на патологической зависти к таланту, остроумию, деньгам и женщинам Дорошевича. Ну нет, конечно, у него, у Гейма, все было иначе. Поистине святое служение памяти несправедливо забытого талантливейшего публициста.

...Квартирка на улице Качалова, недалеко от шикарного, отделанного цветной смальтой особняка Рябушинских, который по воле Сталина был отдан вернувшемуся из Италии под отеческое крыло партии певцу Буревестника. В проеме двери – внучка «короля» Наталья Дмитриевна, в дедушку дылдаобразная, да еще хоть стой, хоть падай – майор милиции. Это у Дорошевича-то, у которого был всю жизнь вздрог по полицейской части! Впрочем, Наталья Дмитриевна больше детишками занималась, кажется, заведовала детской комнатой при райотделе. И вообще женщина была добрая, допустила юного Гейма на антресоли, куда он рвался спервоначалу. А там среди неразобранных бумаг и Немировича-Данченко Василия, военного корреспондента еще с турецкой кампании, письмецо коротенькое с обещанием прислать больному Власу Михайловичу цветных карандашей, чтобы писал и бодрился, и Луначарского записочка к Наталье Власильевне, это значит дочери «короля» и матери Наташиной, – мол, зайдите, поговорим про работу для вас... И фото, на котором сам Влас, такой упитанный йоркширский поросенок, лет тридцати трех, в неизменном канотье с черной лентой, в добротном чесучовом костюме и пенсне, за которым почти надменный взгляд, сидит на резном столике в одесском фотоателье Моисея Шапира, почему-то коленом вдвинув в платье, под живот, наверное, уже беременной молодой актрисы

Клавдии Кручининой. Что за время было – женились преимущественно на актрисах! Поветрие! И Чехова и друга его «развлекательно-будильничной» юности Власа угораздило. Нет, с первой актрисулей Клавдюшей Кручининой Власу могло и повезти. Амфитеатров свидетельствует, что та смазливая псковская гимназисточка хотя и была, в основном, на фарсовых выходах, а бабой оказалась основательной, дом в Москве уютный, сытный, какого у Власа никогда не было, завела. Ну, разумеется, у самого Александра Валентиновича все было намного шикарнее... Но это все потом, после всех минусинских и вологодских приключений, связанных с нагло высмеивавшим царскую семью фельетоном «Господа Обмановы», после долгих лет итальянской эмиграции, когда он вернулся в новую, послефевральскую Россию, решив, что ей не обойтись без него. А вот и обошлась, выкинула его спустя два года после, как теперь стали писать, захвата власти членами международной революционно-террористической организации, то есть партии большевиков... Пытался Александр Валентинович высмеивать скороспелую установку монументов теми же большевиками, в газете «Петроградское эхо» 27 мая 1918 г. назвал их «обыденными», имея в виду, что так назывались церкви, построенные миром по обету, в один день, с рассвета до темной ночи. А вот Карлу Марксу памятник, возведенный в Пензе, оказался не только «обыденным», но и «об-единошным», поскольку был днем воздвигнут, а ночью снят. Посмеиваясь над этим фактом, предложил Александр Валентинович ни больше ни меньше, как возвести памятник Адольфу Марксу, издателю «Нивы» и многих приложений к ней. Как истинному просветителю России. Впрочем, мнение его было однозначное: никогда не следует переливать исторические перевороты в немедленные памятники. Но его, к сожалению, не учли. То есть не учли в положительном смысле, а фельетончик про «Бронзовых Марксов» скорее всего вскорости и припомнили...

Да, еще в той пыли антресольной отыскался прелестный слоник из самшита – из той самой индийской коллекции Дорошевича, которую ему вроде бы подарил какой-то рад-

жа во время одного из его индийских путешествий. Это уже настоящая Индия! Слоны, священная и грязнейшая река Ганг, Будда, Шива и страшная богиня Кали! Вы не слышали об ужасной богине Кали? Горе вам, горе! Это ведь жена самого сторукого Шивы. Она одета в шкуру пантеры, у нее ожерелье из черепов, ее лицо почернело от гнева, в двух из четырех своих рук она держит отрубленные головы, а в двух других – меч и жертвенный нож – кхадгу. Из ее широко разинутого рта свисает длинный язык, окрашенный кровью ее жертв. Кали – богиня тьмы и истребительница демонов. Поезжайте в Калькутту, столицу Бенгалии, и войдите в главный храм, посвященный ей... И тогда...

– Виктор! Иди завтракать! – это кричит она, его Пенелопа-Эвридика. Он живет с ней сорок лет. Она пунктуальна, исполнительна, строга, полна дружелюбия к соседям по даче и вообще блажелательна к людям. Но к Гейму – он знает это наверняка! – она холодна. Нет, это сказано неточно! Писатель не должен врать. То есть именно врать он и должен. Но вранье должно быть искусно, увлекательно и по этой причине правдиво. Так вот, правда заключалась в том, что Пасифая-Пенелопа-Эвридика в одном лице терпела его, Гейма, уже сорок с лишком лет. И должна же была быть причина этому невероятному, этому фантастическому терпению? Привычка – это очень просто, это все знают. Это, так сказать, первый слой, а вот что дальше? Каждый день он давал ей одно из трех лиц-имен и ждал, что она будет соответствовать этому назначению. Вообще-то ее звали Мариной. Но сегодня он назначил ее быть Пасифаей, она должна, просто обязана любить его, потому что так хочет Афродита. Пускай Пасифая полюбит быка! Конечно, это была тонкая месть за то, что отец Пасифаи Гелиос открыл измену Афродиты с Аресом. Почему этих баб так тянет к быкам? А, впрочем, еще неизвестно, от кого Пасифая родила Минотавра, от быка или самого Посейдона.

Гейм знал, что дальнейшие рассуждения на эти тему бесплодны. Он решил, что не будет рассказывать Пасифае ни о богине Кали, ни обсуждать с ней козни Афродиты и проблемы рождения Минотавра. Тем более, что он не чувствовал себя ни быком, ни Миносом, царем Крита, по-

сколько его царство ограничивалось железной изгородью академического садоводческого товарищества «Наука». К тому же остывала проклятая безвкусная овсяная каша, после которой – не забыть принять таблетку атенолола! – он должен был потащиться на свою неизменную кардио-прогулку вдоль водохранилища, на сбегавших к которому глинистых склонах разместился дачный кооператив «Наука», членом коего был Гейм. Семь-восемь километров – это была ежедневная, требовавшая невероятной самоотдачи и жертвы каторжная прогулка Гейма.

Выбор маршрута, как всегда, был невелик. Можно было идти влево вдоль берега, мимо домика администрации пансионата, минуя сбегавшие по склону к воде особняки-коробки, вплоть до того места у дачи академика Пархутика, где дорога упиралась в ржавую железную калитку, за которой кончались кооперативные владения и шли две узких тропы – одна прямо у прибрежной кромки, а вторая – круто вверх, через провалы и овраги, на поросшую редкими соснами вершину, откуда открывался великолепный вид на широкий водный простор. А можно было идти вправо, по прибрежной дороге, через деревню Губичи до дамбы с шумящей плотиной, и еще дальше, мимо двух белых вилл (их владельцы менялись, и Гейм не мог уследить, кто стал последним) и крытого финской красной черепицей особняка бывшего министра иностранных дел и посла в Японии Грайвороненко, шикарного бунгало директора столичного универсама Сечкаря и плохоньких деревянных дач, принадлежавших спортивным тренерам, до самого всемирно известного комплекса, с трамплинами, стрельбищем и беговым стадионом, на котором на роллерах тренировались конькобежцы и биатлонисты. Обычно Гейм добирался до стадиона, усаживался на скамейку, минут десять отдыхал, после чего брел обратно. Впрочем, была еще и «кругосветка»: это когда Гейм принимал решение перейти на противоположный берег водохранилища и возвращаться домой через ту же дамбу. В этом случае он шел мимо выстроенной в шведском стиле гостиницы спорткомплекса, гостевого домика дирекции с сауной и купальней, через бетонный причал и дальше, чуть поднявшись в гору, вы-

ходил на дорогу прямо к резиденции американского посла, находившейся в непосредственном соседстве с обычным магазином сельпо, которому придавали особый колорит поднятый на мачте звездно-полосатый флаг и солидная будка охраны у каменного забора.

Сегодня Гейм колебался в выборе маршрута. Хотя знал подспудно, что пойдет влево, чему была очевидная причина. На стоявшей во втором ряду 91-й даче, принадлежащей Федору Кириллову, бывшему десяток лет назад молодым удачливым бизнесменом и депутатом разогнанного Правителем Верховного Совета, а ныне отсидевшему в тюрьме и недавно выпущенному на свободу оппозиционеру, он давно уже заметил некие странности. С вечера там собирались четыре или пять иномарок, разъезжались, как правило по утрам, а иные оставались и на целый день. Некоторых из кирилловских гостей Гейм знал в лицо, к примеру, бывшего министра внутренних дел Клитко и толстого публициста Куруту, бывшего секретаря ЦК ЛКСМБ, а затем начальника департамента информации в администрации Правителя, нерасчетливо ушедшего в оппозицию в надежде на скорое его падение, сочетавшего занятия Пушкиным с сочинением аналитических записок для разных спецслужб. Особенно часто наезжал крупный деятель оппозиции, тоже бывший депутат парламента, молодой и амбициозный юрист Бондарь. Гости особенно и не таились, выходили на лоджию и на веранду с банками пива в руках, гуляли по дороге вдоль водохранилища, шумно разговаривали. Но Гейму что-то чудилось в этой нарочитой открытости. Он бормотал про себя, минуя 91-ю дачу: «Сначала эти разговоры между лафитом и клико». Гости и сам Кириллов при встрече с Геймом преувеличенно-вежливо с ним раскланивались, но для общей беседы не останавливались и в свою кампанию не приглашали. А Гейм *хотел*, потому что ему было смертельно скучно и одиноко. Сегодня, подумал Гейм, надо будет поближе подойти к 91-й даче, но стоять в одиночестве там и пытаться что-то разглядеть было неприлично. Поэтому он решил, что лучше будет прогуляться с катехизатором Вогуло. Они просто постоят рядом с 91-й дачей, поговорят. Ничего особенного...

В том месте, где узенькая дорожка от дачи Гейма сходилась перпендикулярно с более широкой дорожкой, бежавшей вниз к большой дороге, выводившей к водохранилищу, стояла дача катехизатора Вогуло. Вообще все эти академические дачи были довольно мерзкими строениями – примитивные спичечные коробки, поваленные набок. Тюремный силикатный кирпич, плоская крыша, все это разделено на две части, то есть на двух жильцов, у каждого отдельный вход. Но дом-то общий, вот и толкуются все, и владельцы, и родня, и приятели-знакомые на пяточке, причудливо разрезанном на небольшие огородно-садовые участки. Поскольку рельеф неровный, холмистый, да еще испещренный подъемами от нижней дороги и тропинками к каждому жилищу, участки в большинстве своем получились криволинейно-загогулистые, по кусочку землицы перед входом в дом, основное владение с другой стороны, ниже, перед железными воротами, закрывавшими полуподвальное помещение, которое всяк использовал по своему разумению, в том числе и под гараж.

Когда поселок строился – а было это в середине семидесятых – по Столичному Городу носились невероятные слухи. Говорили, что президент Академии наук Калевич пробил в ЦК нечто невероятное. Тогда с дачами и прочим собственничеством было строго. Но Калевич доказал на самых высоких партийных верхах, что ученым нужно загородное жилье, что наука и, следовательно, государство только выиграют от того, что работники Академии будут чаще бывать на свежем воздухе, поскольку и за городом их творчество не только не будет прекращаться, но обретет дополнительный стимул в лице живительных сил природы. Дачи должны быть капитальными, поскольку творчество продолжается круглый год, в том числе и зимой. Народу на эти слухи хлынуло в кооператив немеряно, да кроме своих, академических, еще и со стороны. Знаменитый борец и чемпион Чекмень, заместитель председателя КГБ и автор милицейских детективов писатель Гребец, директор минздрава Ракового института Корбыленко, областной прокурор Финяев – это только те, кого мог припомнить Гейм. Сам он в пору, когда шла битва за места в коопера-

тиве, числился в Институте литературы старшим научным сотрудником, по его списку и прорвался, можно сказать, в заветный круг.

Потом начались муки: строительное управление собрало деньги с членов кооператива, но лет пять стройка не начиналась, писали жалобы самому Брежневу, наконец, стройка началась, и тут обнаружилось во всей своей красе советское деление на касты. Не было никакой жеребьевки. Члены президиума и академики захватили наилучшие, просторнейшие места, а кандидаты и доктора наук, что попроще, оказались в тесноте и обиде, буквально стиснутые со всех сторон. Гейму вообще крупно не повезло. Его дом первоначально по плану стоял у нижней дороги, на берегу живописной речушки. Но после того как было принято решение речушку запрудить и сделать водохранилище, выяснилось, что дом Гейма и еще три постройки могли быть затоплены. Поэтому их перенесли выше и буквально вбили среди других, правильно посаженных домов. Оттого и участки у Гейма и его соседей вышли маленькие и клочковатые, и сами их дома стояли тесно, ни с одной из сторон не было укрытия, всюду соседи, люди, мимо гаража по их участку, сокращая дорогу к своим дачам, постоянно сновали чужие дети.

Правда, Пасифая-Пенелопа-Эвридика приняла меры, на верхнем участке ей удалось отделиться от соседей слева большим, вымахавшим за долгие годы кизильным кустом, привезенным вместе с веткой сирени из Чеховского сада в Ялте. Был тонкий кизильный прутик, завернутый в полиэтиленовый пакет (так и везли в самолете), и вот в какое роскошное чудо он превратился: чуть ли не каждый год ведра по три буро-красных, продолговатых, как маленькие пульки, ягод они собирали. И еще оставалось для соседей и сестры Пасифаи Необъятной Муры.

Гейм любил вспоминать, как приехав однажды в Ялту дня за два до начала очередных Чеховских чтений он с разрешения хранителя бродил по абсолютно пустому дому в Аутке. Шел ремонт, и все чеховские вещи вынесли в специальный соседний павильон. На первом этаже он обнаружил клозет с громадным, явно очень почтенного воз-

раста унитазом. Гейм подумал, что Антону Павловичу с его желудочно-кишечными делами было довольно далеко добираться из своего кабинета с левитановским пейзажиком над камином до этого выложенного унылой серой плиткой весьма просторного, не то, что наши клетки, помещения. Архитектор Шаповалов многое не продумал в Чеховской даче, которая к тому же спустя полвека начала съезжать, так что пришлось угол укреплять большим контрфорсом. Гейм не раз бывал на Чеховской даче. В первый раз еще студентом, когда была жива Мария Павловна. Старушка ласково приняла минского студентика. «Бедный, – говорила она, – пешком поднимался в Аутку в такую жару!» «Конечно, – думал юный Гейм, ушлетая бутерброды с сыром и запивая большими глотками горячего чая, – Антон Павлович, небось, на извозчике взбирался к себе на гору». А потом он уже приезжал участником Чеховских чтений – элитарного собрания московских чеховедов, группировавшихся вокруг выходившего тогда академического собрания сочинений классика. Очень умные литературоведные и искусствоведные дамы разного возраста, обаятельнейший и остроумнейший Зиновий Паперный, вроде и уставший от собственной славы, но явно не пресыщенный ею Иннокентий Смоктуновский, разумеется, как представитель МХАТа и гениальный исполнитель Иванова... Однажды приехал опальный Лакшин, невидимый ореол свободолобивого «Нового мира» вился над ним. Владимир Яковлевич оказался великолепным экскурсоводом по Ялте с ее винными заведениями, погребками, в которых удивительно легко и много пилось под неистощимые рассказы и шутки. Золотое было время культурного, интеллектуального кипения! Но в тот день, когда Гейм одиноко бродил по пустому Чеховскому дому, скучавший хранитель предложил посмотреть кой-какие личные записи Антона Павловича. Про хранителя разное говорили: что дерзок, самолюбив, капризен этот молодой, белокурый, полноватый человек. Но что он не любил Чехова, это было определено. С каким сладострастием он показал Гейму запись: «9-го числа дал нищему 1 рубль». И еще одну: «Дал татарчонку гривенник». «Вот, видите, – блестя глазами и торжествуя, говорил

хранитель, – у Антона Павловича весь его гуманизм тщательно регистрировался. Аккуратнейший был человек».

Гейм тоже не любил Чехова, хотя в молодости и написал о нем небольшую книжечку. Чеховское аккуратное сплевывание туберкулезной мокроты в платочек, его же деликатность, его девичья белоснежная постелька рядом с кабинетом... Как все это сочетать с его же развратом на Цейлоне, где автор «Каштанки» просто пустился в разгул и не без самодовольства в одном из писем зафиксировал свои приключения с «бронзовыми женщинами»?

Гейм удивился. Как, однако, быстро и компактно движутся в нем воспоминания? Их хватило на целых тридцать метров, что отделяли его дом от поворота на нижнюю дорогу, где, прячась в тени старого орешника, его ожидал или, точнее сказать, караулил катехизатор Вогуло.

II

У Эразма Феофилактовича Вогуло выдалось не лучшее утро. Едва поднявшись, он успел повздорить со своей супругой Феоной Матвеевной, заведующей лабораторией в Институте физики твердого тела. Феона Матвеевна с вечера должна была замочить 14 пророщенных пшеничных зерен – ежедневный завтрак катехизатора Вогуло. А она замочила двенадцать, Эразм Феофилактович трижды тщательно пересчитал, и каждый раз выходило только это число. Причина катехизатору Вогуло была ясна давно, с тех самых пор, как Феона Матвеевна увлеклась яснослышанием. Она била себе в голову, что обладает посланным ей свыше даром и постоянно заставляет Эразма Феофилактовича участвовать во всевозможных опытах, которые катехизатор именует не иначе как бесовскими действиями.

Вчера она заставила его задумать слово и написать его на бумажке, а потом показать эту бумажку ей. Он все проделал, и она угадала: слово было «Наполеон».

– Ничего удивительного, – сказал Вогуло, – третьего дня мы много говорили о Наполеоне.

Тогда она велела ему завязать ей большим платком глаза, поставила рядом, взяла за руку и приказала взглянуть на его ручные часы фабрики «Луч».

– Ты запомнил, который час? – спросила она.

– Абсолютно, – ответил покорно он. После чего она торжественно объявила, что сейчас 10 часов 39 минут.

– Ты подсмотрела время за минуту или две до опыта, – он пытался обвинить ее.

– Как тебе не стыдно, Эразм? – упрекала она. – Я ничего не видела. Я только слышала! Понимаешь? Знание входит в меня через слух! Это не ясновидение, а ясновыслушивание!

Но он знал истинную причину. Феона ревновала его связь с Богом и стремилась доказать, что обладает свыше внушенным даром.

– Ты в сетях дьявола, Феона! – говорил ей катехизатор.

– Я занимаюсь физикой твердого тела и знаю, где граница между духом и реальностью, – гордо отвечала она. – Ты помнишь, как я тяжело болела четыре месяца? Какая у меня была лихорадка? Я пошла к отцу Нафанаилу, он взял меня за руку и начал читать 144-й псалом, говоря при этом: «Да будет тебе болезнь твоя легка так же, как деве Марии рождение Господа нашего Иисуса Христа!» А потом взял три просфоры и написал на одной: «Как есть Отец, так есть и жизнь», на другой – «Как есть Сын, так есть и Дух святой», на третьей – «Как есть Дух, так есть и исцеление». И я ела только эти просфоры три дня и каждый вечер читала по 15 раз «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся». И выздоровела, слава Богу!

– Молитва помогает, – согласился Вогуло. – А ясновыслушивание – это гордыня в тебе, Феона, говорит. Хочешь выситься над людьми, показать свою отмеченность Богом!

– Ты-то сам хотя помнишь, откуда ты? – с обидой спросила Феона.

Он знал, на что она намекает, – на его артистическое или точнее режиссерское прошлое. В 1952 году Эразму, студенту Щепкинского театрального училища, предложили помогать известному режиссеру, постановщику массовых действий и торжищ, в оформлении концерта на Красной площади, на котором должен был присутствовать Сталин. Концерт

во время Первомайской демонстрации трудящихся. И он придумал: открываются ворота ГУМа и из них голубиными стаями летят к мавзолею пионеры и комсомольцы в белых рубашках и штанишках до колен. А в руках у них букеты цветов для руководителей партии и правительства. Тогда его вызвали в МГБ, попросили внимательно изложить план и назвать тех, кто внушил ему эту идею, рассчитанную на уничтожение руководства СССР во главе со Сталиным. Ему объяснили, что враги могли за ночь подготовиться и спрятать во внутренних помещениях ГУМа террористов с оружием, которое они, конечно, использовали бы, прикрываясь пионерами и школьниками. Он пытался возражать, говорил, что наши славные чекисты накануне обязательно проверили бы внутренности ГУМа и не допустили, чтобы там спрятались террористы с оружием, в конце концов, можно было бы за несколько дней до праздника установить там круглосуточную охрану...

По какой-то случайности его оставили в училище, но от участия в дипломном спектакле по «Молодой гвардии» – прочили роль Кошечкина – отстранили, а после окончания сослали в театр Красноводска, городка на Каспии, где он дышал пылью песков целых восемь лет, пока не перевелся в Ленинград, поработал у Акимова, а затем вот попал сюда, в Белоруссию. Недолго пробыл главным режиссером в ТЮЗе, съели его минкультовские бюрократы. Уже, впрочем, тогда шли разговоры, что главреж ТЮЗа Вогуло увлекается парапсихологией и космическими пришельцами, что эти дела его интересуют больше, чем театр. Парапсихология и пришельцы еще не были прямым антисоветизмом, но, несомненно, явлением чуждым, несовместимым с воспитанием молодежи. Поэтому Вогуло перебрали на телевидение, но не в редакцию литературно-драматических передач, где, казалось бы, и место театральному режиссеру, а куда-то по линии народного хозяйства и еще чего-то научно-популярного. В общем, прозябал он там несколько лет. Зато духовно воспрял.

Это были годы пика его парапсихологических занятий. Сложился даже тесный дружеский кружок, в который, помимо Вогуло, вошли известный театральный декоратор

Яценко и филолог из института литературы Брайцев. Яценко, человек богатый, с замашками барина, оформил на своем веку множество оперных и балетных спектаклей, в том числе за границей, поездил по миру и к парапсихологии пристал, скорее всего, от скуки. А вот Брайцев, тот буквально горел ею, причем давно, со времен работы в Ленинградском университете, откуда его, доцента-слависта, выгнали то ли за роман со студенткой, то ли за парапсихологию, а скорее всего и за то и другое. Пришлось бежать в Белоруссию, где его приютили в академическом институте литературы.

Был Брайцев горяч и нетерпим в спорах. И это впоследствии развело их с Вогуло. Впрочем, были и существенные идейные разногласия. Брайцев искал Антихриста, который должен был придти раньше Мессии, искал его земного воплощения и нашел его в Брежнев. Это уже выходило за рамки интересов к таинственным космическим следам в пустыне Наска и рисункам в пещерах Кетцлькоатля. У Брайцева уже пошли неприятности с тех пор, как он дал интервью в фильме Деникена «Воспоминания о будущем», в котором утверждал космическое происхождение Христа. Подобные взгляды были несовместимы со статусом советского ученого и члена партии. А тут уж, с Брежневым-Антихристом, и вовсе запахло антисоветчиной. Вогуло с Яценко стали постепенно сокращать свое знакомство с Брайцевым, который впадал все в большую ярость по отношению к советскому режиму, пока, наконец, открыто не выступил на партийном собрании в защиту гонимого Солженицына. Его исключили из партии, а вскоре, накануне защиты докторской диссертации, уволили из института. Но Брайцев уже был популярен в Союзе, особенно в научных аудиториях, начались его полужакрывые лекции в московских и не только академических институтах и вузах. Накануне олимпиады его схватили в Москве на улице Дмитрия Ульянова во время разбрасывания листовок, в которых он оповещал сограждан о Брежнев-Антихристе. Был закрытый суд в Минске, потом казанская спецпсихушка. В разгар перестройки его освободили, и он снова воспрянул с лекциями, религиозность его обрела поистине экстатический

характер, и он имел уже своих учеников и последователей, как вдруг неожиданно скончался.

Декоратор Яценко настроил на него донос в КГБ сразу после исключения из партии, чтобы предупредить возможные неприятные события. Открестился по полной программе, списав «несообразности поведения» давнего знакомого на очевидное психическое расстройство Брайцева. Вогуло же повел себя прилично и на допросах в качестве свидетеля по делу Брайцева показал, что видел в нем интересного человека и собеседника, серьезного ученого. Гейм знал об этом непосредственно из материалов судебного и следственного дела, которые выдали ему на просмотр в Верховном суде в либеральные перестроечные годы, когда он редактировал собственную газету «Европейский меридиан». Вогуло в это время уже давно воцерковился, стал человеком близким к митрополиту, писал нравоучительные книги на религиозные темы для детей, преподавал на богословском факультете Европейского гуманитарного университета. А в последние годы еще и учительствовал в воскресной детской школе, объяснял катехизис.

На даче Вогуло откровенно скучал, пытался воздействовать религиозными разговорами на местных детишек, повернуть, так сказать, их мысли в богоугодном направлении. Но эти сорванцы на велосипедах стали избегать его и, заведя, нажимали на педали. Однажды он увидел у Геймова внука десятилетнего Максима толстый том «Гарри Поттера» и буквально зашелся в негодовании: как, мол, можно, соблазняться таким бесовским чтением? Максим терпеливо выслушал нотацию неряшливо одетого старика и деликатно подвел итог: «А я все-таки эту книгу дочитаю».

Сейчас Вогуло решил напомнить Гейму, что он мало занимается душой своего внука. Но тот неожиданно сразу же предложил другую тему.

– Говорят, Эразм Феофилактович, ваш Европейский университет закрывают! – чуть ли не радостно воскликнул он вместо приветствия.

– На все воля Божья, – буркнул Вогуло, обходя образовавшуюся после ночного дождя лужу на нижней дороге.

– Это не Божья, это Правительева воля, – поправил его

Гейм. – И ваш митрополит это сразу понял, оттого и пристроил свой богословский факультет – тут же перевел его из Европейского университета в Белорусский государственный.

Так лениво препираясь, они добрались до 91-й дачи и остановились у самых ворот.

– Здесь что-то бесовское происходит, – сказал Вогуло. – Чует мое сердце.

– Что вы имеете в виду? – Гейм спросил, стараясь не выдавать своего интереса.

– Говорю вам, бесовщина здесь творится, – твердил Вогуло, уходя от какой-либо конкретики.

Между тем ни перед воротами, ни за низким штакетником не было ни одной из обычно парковавшихся здесь иномарок.

– Да ладно, – деланно-равнодушно протянул Гейм, – всегда-то вам что-то чудится.

Хотя знал, чувствовал, что катехизатор прав, что-то здесь и впрямь творилось недоброе, и лучше было бы не заворачивать к этой чертовой даче, к которой Гейма влекло сильнейшим магнитом. Почти физически преодолевая это притяжение, Гейм заставил себя пойти направо по дороге вдоль водохранилища и в ту же минуту услышал голос откуда-то сверху.

– Куда же вы, господи?

С лоджии своей дачи, это значит почти с третьего этажа, их окликал хозяин, молодой, свежий, приветливо улыбающийся Федор Кириллов. Быстро спустившись, он завел торопливый разговор о разных пустяках, и сразу насупившийся Вогуло поспешил откланяться. Кириллов предложил писателю пройтись, но уже через несколько десятков метров, едва поравнявшись с домиком администрации пансионата, Гейм заявил, что его ждет работа, и потому он вынужден извиниться.

– Понимаю, – дружески улыбнулся Кириллов, – новую книгу пишете. А что-то я давно ваших статей, Виктор Владимирович, в «Народном голосе» не читал. Забыли вы своих почитателей, Виктор Владимирович, нехорошо, а ведь ваше перо многие ценят.

Гейм скомкано поблагодарил собеседника и, сославшись на срочную работу и не лучшее для бесед и прогулок настроение, распрощался.

– Ничего! Ведь мы еще увидимся, Виктор Владимирович! Так ведь? – Кириллов дружески пожал ему руку и улыбнулся самой доброй и одновременно какой-то детски беспомощной своей улыбкой.

III

Правитель в это утро также был не в настроении. Он совершал традиционную утреннюю пробежку в сопровождении трех, следовавших за ним на небольшом отдалении охранников, когда заметил на нижних ветвях старой сосны какой-то бумажный пакет с прикрепленной к нему бечевкой. Немедленно был вызван начальник охраны, который доложил, что «пакет» не что иное как воздушный змей, неизвестно как сюда залетевший.

– Вы соображаете, что говорите? – медленно чеканил Правитель каждое слово. – Какие воздушные змеи могут залетать на *эту территорию*?

Эта территория была одним из любимых его мест, буквально рядом со всемирно известным спортивным комплексом. Спортсмен душой и телом, он любил спортивные сооружения, потому что здесь он видел постоянно поражения одних и победы других. Выпускник столичного института физкультуры и одновременно большой любитель истории, он знал об играх гладиаторов в Древнем Риме и одобрял их устроителей, цезарей, действительно знавших свой народ. «Раубичи» были объектом его неусыпного наблюдения и личного контроля. Натурально, что на таком объекте и порядок должен быть соответствующий.

– Может быть, какие-то пацаны... случайно... – бормотал начальник охраны.

– Какие пацаны? Какие случайности?

Правитель больше не сдерживал себя. Отменный русский мат с белорусским акцентом несколько минут лился

на голову начальника охраны Сипкова, который отлично понимал, что Правитель прав. Никаких случайностей быть не может! Это его промашка. Сипков вытянулся, щелкнул каблуками:

– Немедленно организуем следствие и о результатах доложим.

– Не позже семи вечера, – кивнул устало Правитель.

«Доверять нельзя никому, – думал он уже в машине, уносившей его по великолепной бетонной автостраде в столицу. – Даже такую мелочь, как воздушный змей, он лично должен подмечать и указывать на нее охране. Вероятно, нужно будет сменить начальника охраны резиденции».

Прошедшей ночью он видел сон. Будто бы, как в детстве, взобрался он на высокую сосну и оттуда ухает филином, пугая прохожих. Тогда, в деревне, он пугал так одноклассников, возвращавшихся из клуба после кино. Ему хотелось, чтобы его боялись. Вообще-то ему хотелось, чтобы его уважали. Но может ли быть уважение без страха? Он видел, что у них в районе все построено на страхе перед высшим начальством. Бригадир боится председателя колхоза, председатель – секретаря райкома партии, секретарь – первого секретаря, а тот – обкомовских деятелей... Так должно быть, ибо заложено самой природой. Без страха не бывает уважения. Но как он мог заставить своих одноклассников уважать себя, когда слышал за спиной: «Байструк!» Ну, давал в морду, это он умел, слава Богу, силой не обижен! Но сплетня преследовала его буквально по пятам: «Мать в подоле принесла! Сама по пьяному делу похвалялась – не известно, от кого сынок получился».

А бедность, какая бедность была! Как она душила его самолюбие, когда, собираясь на школьный вечер, он подрезал бахрому на истрепавшихся брюках... Тогда он дал себе слово: пробьется во что бы то ни стало наверх, покажет всем, на что он способен, а, может, и заставит бывших насмешников валяться у него в ногах! Учился он не очень успешно, так себе переваливался с тройки на четверку. Зато на всяких мероприятиях – комсомольских собраниях, школьных вечерах стремился быть первым – и выступал активно, и первые роли в драмкружке требовал, и на баяне

выучился играть, чтобы все его видели. Само собой, в футбол играл, в хоккей. Тут на его пути просто опасно было становиться: он буквально сметал всех на пути к воротам.

И все-таки самым первым делом, первейшей жизненной задачей было – вырваться из проклятушей деревни. И здесь он взял замечательный старт, приударив за дочерью председателя колхоза, героя социалистического труда Староселова. А у Староселова свои связи и в области и в столице. Ну и оказался он сразу, как хотел, в столичном физкультурном вузе. А тут уж, на факультете, его закружила родная стихия – общественная работа, обязанности комсорга. К тому же женился на той же дочери председателя колхоза, ставшей сокурсницей, остепенился, так сказать, стал солидным, семейным человеком, на которого можно положиться. Появились связи в райкоме партии, в горкоме. Поэтому и в армии после института оказался на политической работе, хорошо послужил, зарекомендовал себя, так сказать, что дало возможность пристроиться после демобилизации в областную организацию общества «Динамо».

А тут налетела перестройка, шумиха невероятная, балаган, мутной воды нагнало! Он нутром почувствовал – пришло его время! Можно доказать и взять свое! Сумел пробиться на пост директора крупного плодоовощного комбината, хотя первый секретарь обкома Сазонов и был против. Ну он ему доказал, закончил заочно институт механизации сельского хозяйства – против двух высших образований не попрешь! Много ли таких образованных и энергичных организаторов сельскохозяйственного производства? Впрочем, чересчур образованным человеком он себя никогда не чувствовал. Видел, что физкультурный институт – это очень поверхностное образование, серьезных ученых там никаких, в основном, отставные спортсмены и тренеры на теплые доцентские места пристроились. Ну а в институте механизации – какая учеба заочно? Нашлись люди, помогали с курсовыми, ну и с зачетами-экзаменами естественно. Так что насчет образования своего он не обольщался.

Зато твердо знал о главном дарованном ему даре. Однажды, ему было десять лет, он в лесу столкнулся с волком.

Зверь не выдержал его взгляда – повернул. А он знал, что победит, чуял... Он всегда побеждал, потому что знал и звериную и человеческую природу.

Он заглянул в папку с программой сегодняшнего заседания Совета Безопасности. Первым стоял вопрос о Шкловском Идоле. Что они носятся с этим идолом? Правитель стал припоминать... Да, был такой громадный камень-валун с изображением славянского языческого божества десятого века. Его нашли на берегу Серебрянки, недалеко от Шклова, в начале шестидесятых годов. Вроде археологи утверждали, что местные язычники спрятали здесь свое божество после принятия христианства. Скульптуру увезли в Государственный музей, где она должна сохраняться и поныне. Нужно дать задание Крейману, чтобы проверил, в порядке ли там все. Мало ли какие провокации возможны даже на исторической почве. Лучше всего будет, если камень запрягут в запасники подальше от недобрых глаз. Вообще про разные исторические случаи, связанные со Шкловом ему подготовили справку специальную в КГБ, и любопытные там есть вещи. Вроде и Гришка Отрепьев, тот самый, который выдавал себя за Лжедмитрия, прятался одно время в здешнем монастыре. Кое-кто из оппозиции ухватился за этот факт и тянет линию от самозванца к нему, Правителю. Еще в справке той говорится, что Шклов был весьма подозрительным местом при Екатерине II, подарившей это местечко своему бывшему фавориту графу Зоричу. А тот завел здесь роскошь необыкновенную, выстроил дворец, в котором давались и оперные и балетные спектакли, открыл кадетский корпус, воспитанниками коего были среди прочих и прижитые им с разными полубовницами детишки. И карточная игра здесь шла большая, оттого и крутились в Шклове разные темные личности со всей, почитай, Европы. Вроде родственников Зорича братьев Зановичей, наладивших в имении графа изготовление фальшивых ассигнаций. Аферой этой занимался сам Григорий Потемкин. И неслучайно ежели кого полиция долго не могла сыскать по всей империи, посылали, как правило, в Шклов, и там нередко находили нужного человека.

Впрочем, эта историческая информация по-своему даже

тешила Правителя. Пускай наматывают разное вокруг его личности. Исторические небылицы тоже служат к украшению своеобразному. Пускай тешатся его высказываниями насчет того, что в детстве он увлекался стихами Василя Быкова и что Франциск Скорина учился в Петербурге.

А вот главного в нем противники и недоброжелатели не поймут никогда. Ибо его главное – это дар необыкновенный, Чутье данное ему свыше.

Оно и вело его по жизни. Чувал он неким особым, внутренним зрением приближавшуюся опасность и мгновенно реагировал на нее. Оно, Чутье, подсказывало ему, как поступать в решающие для его судьбы моменты. Оно заменяло ему *ихнее* образование и культуру, отсутствием которых попрекали враги. Он знал: они видели в нем хама, случайно прорвавшегося на вершину власти. Но если они такие умные и образованные, то почему не кто-то из них, умных, культурных и образованных, а он, хам и дурак, по их представлениям, уже столько лет находится на самом верху власти? Пускай объяснят! Не найдут объяснений – он знает это наверняка.

Он делает неординарные ходы и всегда путает своих противников. Вот и сегодня он преподнесет им сюрприз. Он еще не знает какой, но есть ощущение, что подарок состоится именно в том интервью, которое как раз перед Советом Безопасности запланировано на это утро. Обещано корреспонденту германской газеты «Хандельсблатт». Издание, говорят, хотя и не самое именитое, но известное, пользуется особой популярностью среди бизнесменов.

И вот тщедушный очкастый немец уже задает свои вопросы в Его новом, отделанном ценнейшими породами дерева кабинете. Предполагалось, что сначала вопросы представят в письменном виде, но потом Он решил – пусть будет все самотеком, должен немец оценить его способность к импровизации. Поговорили, как водится, на обычные темы – добрососедство, экономическое сотрудничество и прочая мура.

– Вы управляете твердой рукой, господин Правитель, – неожиданно подпустил немец, – наверное, не всем это нравится?

– Конечно, не всем! Но в Германии, мне кажется, мой стиль правления особенно должны ценить. Немцы всегда уважали порядок или, как там по-вашему, орднунг, кажется? Я даже слышал шутку вашего канцлера, что он бы взял меня в свое правительство министром внутренних дел.

Немец съежился.

– Не помню такой шутки, господин Правитель. Но позволю себе спросить: на какие исторические личности равняетесь вы в своей государственной деятельности?

Ах, вот с какой стороны немчура решил зайти! Ну что ж, пускай кушает по полной программе!

– А зачем далеко ходить, господин Вольф? У вас в Германии был очень сильный руководитель. Правда, не все в его деятельности можно одобрить, но, тем не менее, он немало сделал для страны и притом в тяжелое для нее время. Сумел объединить людей, дал им работу, поднял уровень жизни.

Кажется, немчура сейчас отдаст концы: челюсть отвисла, глаза на лоб лезут, корчит его всего. Да и с Его телеопера-торами, с радиожурналистами и прочими допущенными на интервью писателями что-то явно случилось – побледнели ребята, руки задрожали... Может, и впрямь не стоило про Гитлера вот так в лоб? Да он и не собирался... Так, подвернулось под язык. Теперь, конечно, раздуют, шум пойдет великий. А ведь все равно скушают дерьмецо, которое он им швырнул! Ничего, пускай привыкают к полной откровенности своего Правителя...

– Извините, господин Правитель, – лепечет немец, – но у нас в стране полностью запрещено любое одобрение деятельности Гитлера.

– Так это же у вас в стране, – ласково-понимающе улыбается Он совершенно опешившему немцу. – Да и я его далеко не полностью одобряю. Просто говорю о некоторых качествах человека, который в трудный для страны момент сумел мобилизовать народ, нацию. Порядок, орднунг – великое дело, не так ли? До свидания, господин Вольф, всего хорошего вам лично и вашей стране, великой Германии!

И уже пожимая на прощанье руку:

– Зря все-таки в вашей стране запретили имя Адольф. Нормальное имя... Даже симпатичное.

Пусть знает немчура, что и ему об ихних порядках кое-что ведомо. Нет, в самом деле, до чего додумались! А если б Гитлера, к примеру, звали Александром – что и это им запрещать? Ну полные идиоты!

IV

Следователь Острошицкой районной прокуратуры Яков Григорьевич Малевич собирался на рыбалку, все было заготовлено загодя – новенький финский спиннинг, крючки, приманка, – когда зазвонил телефон.

– Слушай, Малевич, тут из академического дачного поселка звонили, – сказал начальник следственного отдела Острошицкой милиции капитан Марьясин, – там у них вроде человек пропал, второй день как ушел куда-то и не могут найти. Надо срочно тебе ехать с нашим Боровковым.

– Вот сучьи дети, академики, – в сердцах бросил Малевич, – на других дачах все нормально, а у этих вечно что-то случается. Три дня назад пожар был на даче академика Лавкунова, теперь вот пропал кто-то. Так кого искать-то надо?

– Профессор Гончарик, это шестьдесят третья дача, вроде пошел вдоль озера, в сторону леса, ну и не вернулся. Родственники говорят, он вроде не в себе уже не первый год был, что-то с мозгами. Вы пройдите там по берегу, может, завалился куда старик, в какую яму. Там полно закиданных упавшими деревьями заток... Хотя его уже искали, из города приезжали какие-то знакомые...

Сержант Боровков, молодой, мордастый, из глотки которого рвался свежий запах самогона, прибыл на раздолбанном «жигуленке» буквально через десять минут.

– Ну что, Рыгорович, – сказал он с унылым сочувствием Малевичу, – накрылась твоя рыбалка. Надо ехать к этим залупанцам, академикам. А дорога хреновая, вся в ямах. Дурной народ, скажу я тебе, хотя и образованный вроде. Сколько лет водопровод в землю закапывали, хотя было известно, что по весне трубы рвать будет. Теперь вот, как

все люди, поверху тянут, дорогу перекопали... На всех дачах вокруг земля уже приватизирована давно, а эти только выпались, теперь носятся с бумажками, друг у друга подписывают, согласование границ участков называется... Ну и скандалы пошли. Жена директора Института биофизики Мирончика соседку свою, завлабшу из Института физиологии Берковскую, чуть лопатой не прибила из какого-то спорного метра. Ну и пожар на даче у академика Лавкунова – дело темное...

– А что все-таки говорят про лавкуновскую дачу, – осведомился Малевич.

– Да разное брешут. – Боровков на всякий случай оглянулся по сторонам и понизил голос. – Вроде внук покойного Лавкунова Виталий хотел купить вторую половину дома у соседа своего, академика Рейника из Института теплофизики, тот старый, за девяносто, совсем уже разваливается, на дачу не ездит, зато внушка его Верка, отчаянная девка, там настоящий бардак устроила, по ночам пьянки идут, музыка гремит. Но Рейник уперся, ни в какую не хотел продавать... Ну и вроде Виталий только попутать хотел, поджег его веранду, а огонь возьми да и перекинись на половину Лавкунова, вот и выгорел весь дом дотла. Соседние участки бумажным пеплом закидало. Говорят, Рейник у себя какой-то большой архив держал, буквально вся дача была заставлена мешками с бумагами. Теперь вообще комедия получается. У Виталия Лавкунова нет денег на отстройку дачи, а Рейник откупил его участок и строит себе там настоящую крепость.

– А что за архив у него был?

– А кто его знает! Вроде после того, как Академия начала разваливаться, Рейник перевез на дачу все ценные бумаги из своего института, результаты исследований несколько десятков лет. Может, хотел сохранить...

– Документы в специальных местах хранят, а не на даче, – буркнул Малевич.

– Так у них же, Рыгорович, у стариков академических, крыша на старости едет. Вот и этот Гончарик, с припизженными мозгами, неизвестно куда подался. Ну едем, что ли? Только имей в виду, что дорога через лес, от Логойского

шоссе, вся перекопана, там ремонт идет, поэтому поедем через дамбу.

– Да ладно, – махнул рукой Малевич, – километра полтора лишних. Давай!

Когда въехали на дамбу, в центре которой была плотина, перегородившая речку, разлившуюся в водохранилище, Боровков неожиданно тормознул и показал рукой в сторону круто поднимавшегося от берега к лесу холма, поросшего редким кустарником.

– Гляди, Рыгорович, какая-то беготня там непонятная!

– Спортсмены, наверное, из Раубичского спорткомплекса... Тренировка... – сказал Малевич, вглядываясь и ничего не замечая.

– Да ты правее смотри! – крикнул Боровков. – Там, похоже, крутая заваруха начинается!

И точно: по правому краю холма в сторону леса бежал человек, похоже со спортивной сумкой, а следом за ним гнались двое, вот они скрылись в сосняке, откуда сразу раздался выстрел.

– Давай! – крикнул Малевич.

Прямо с дамбы «жигуленок» взлетел по холму, и они чуть не разбились о громадный валун на его вершине. Боровков резко затормозил, машина накренилась, и Малевич буквально вылетел из нее.

– Смотреть надо, зараза! – следовательно, отряхиваясь, поднялся с земли и стал помогать Боровкову.

– Вроде я, Рыгорович, ногу подвернул, – пожаловался Боровков и попробовал встать, но тут же осел от боли.

Малевич позвонил в райотдел, попросил подмогу и, прислонив Боровкова к камню, углубился в лес, прошел каких-то метров сто, когда увидел в небольшом распадке лежащего нничком мужчину в светлом пиджаке и темных брюках. Он перевернул убитого и сразу узнал его, это был бывший депутат Национального собрания и оппозиционер Скарбец, недавно интервью с ним с его большим портретом было опубликовано в «Народном голосе».

Малевич оглянулся по сторонам в поисках сумки. Ее не было видно. Он прошарил ближайшие кусты – бесполезно. Видимо, убийцы Скарбца проявили расторопность – эту

версию надо будет занести в протокол. А, может, не стоит? Черт его знает, что было в этой сумке? Впрочем, Боровков тоже мог видеть...

V

Посол США в Беларуси Джон Смайли в этот воскресный день находился на балконе своей загородной резиденции и был занят любимым делом – рассматриванием в бинокль окрестных видов. Бинокль у посла был замечательный, цейсовский, с пятидесятикратным увеличением, он достался ему от отца, который был адъютантом у генерала Паттона во время боев в Европе во вторую мировую войну.

Эти виды Смайли знал досконально, но их рассматривание ему никогда не надоедало. Даже в будние дни в погожую погоду, возвращаясь из Минска в Раубичи, он после легкого ужина спешил на балкон, где на небольшом столике его ждали газеты, знакомство с которыми он откладывал на вечер, и бинокль. Но сначала он, как правило, брался за бинокль. Начинал с обзора противоположного берега, отмечая новые детали. На двух совершенно одинаковых, стоящих рядом Белых виллах, выстроенных в отвратительном стиле псевдоклассицизма, столь характерном для постсоветских нуворишей, было пустынно. Впрочем, по выстриженному газону левой описывала ленивые круги довольно злобная овчарка. Когда на дороге, ведущей к спорткомплексу, появлялся редкий прохожий или пробежала группа спортсменов, она бросалась на ограждение и глухо лаяла. Говорят, что обе виллы на заре белорусской суверенности построили сыновья тогдашнего премьера Бабича, метившего в правители страны и так бесславно проигравшего нынешнему Правителю. Потом вроде одну из vill продали какому-то кавказцу.

Кавказцы и вообще южные люди стали все заметнее в Беларуси. Вот даже у него, можно сказать под самым носом, это значит на его берегу, чуть левее его резиденции, буквально через дорогу, какие-то узбеки приобрели

территорию бывшего детского сада, снесли его или перестроили – этого он так и не успел заметить, но за три недели отсутствия Смайли, когда он уезжал по делам в Вашингтон, появилась вилла в восточном стиле, даже с небольшим минаретом. Еще немного, и рядом с его резиденцией закричит муэдзин. А главное – узбеки отхватили приличную часть прибрежной территории, которую он сам мечтал присоединить к своей резиденции и превратить в пляж. Конечно, еще лучше было бы приобрести прибрежный участок прямо напротив резиденции, отделенный от нее все той же поселковой дорогой. Но там стояла трансформаторная будка, окруженная чьими-то сараями. В общем время было упущено, и теперь на купанье он вынужден выезжать в более дальние места, хотя глупо, имея дом на берегу прекрасного водохранилища, не иметь возможности тут же искупаться в жаркую погоду. Вообще многие осуждали его выбор, когда он остановился на этом загородном особняке в Раубичах.

Но когда Правитель начал выселять послов из бывшего правительственного дачного комплекса «Дрозды», нарушая все договоры об аренде, предшественник Смайли Генри Стоппард отыскал эту частную виллу в Раубичах и арендовал ее. Стоппард рассказывал, что кое-кто из сотрудников посольства кривил носом: дом у самой дороги, отделяющей его от берега, снуют машины, вдобавок буквально впрыток к вилле стоит сельмаг, что совсем уже было неприлично – за стеной мачта со звездно-полосатым флагом вроде освящает и бедный сельский магазин. Впрочем, Стоппард не без гордости подчеркивал, что с той поры, как он здесь поселился это убогое, приземистое, из красного кирпича строение подремонтировали, да и ассортимент улучшился – все-таки стыдно демонстрировать голый прилавок рядом с резиденцией американского посла.

Смайли перевел бинокль правее Белых вилл, внимательно оглядел сложное деревянное бунгало директора спорткомплекса Гуркова, отметил новый забор, появившийся перед небольшой дачкой тренера по биатлону Закаржевского, затем принялся изучать участок бывшего министра иностранных дел Грайвороненко. Шикарная,

в финском стиле дача из темно-бордовых блоков, говорят, специально привезенных откуда-то из Литвы, хотя и была давно закончена, но нарочито стояла в полустгнивших лесах и с окнами, залепленными кусками грубого рубероида. Роскошная дача как бы притворялась убогой, недостроенной. И Смайли знал в чем дело: Грайвороненко, бывший при советской власти секретарем горкома по идеологии, сумел в первые годы независимости быстро перекраситься в незалежника и стал министром иностранных дел, после прихода к власти Правительства побыл некоторое время в вялой оппозиции, но быстро пошел на поклон, за что получил должность посла в Японии; год назад его убрали из Токио, но он зааартачился, пошли слухи, что Грайвороненко чуть ли не исчез вместе с посольскими документами и печатями и вроде вообще не собирается возвращаться. Но вскоре вернулся, напустил туману, пообещал рассказать, в чем там было дело, но кроме жалоб, что все совершилось с его отставкой чересчур поспешно, что ему даже не дали официально попрощаться с микадо, ничего не последовало.

Как все впадшие в немилость у Правительства, Грайвороненко натурально опасался преследований. Обычно начиналось с проверок собственности, находили какие-то нарушения и даже за сущую ерунду давали солидные сроки. Бывший посол в Латвии Марич за какие-то пять компьютеров, пожертвованных ему американским посольством на нужды его общественной организации, получил пять лет. Вроде не задекларировал, не заплатил налог и вообще чуть ли не украл у американцев. И хотя из посольства в суд пришла бумага, что США не имеют никаких претензий к г-ну Маричу в связи с этими жалкими компьютерами, бывшего посла посадили.

Поэтому и Грайвороненко приходилось демонстрировать скромность, упадок и вообще несерьезность своей собственности. Какая там дача? Так, какой-то недострой... Но сегодня Смайли с удивлением заметил, что леса частично были сняты, а в окнах вместо страшного черного рубероида засверкали стекла, и, наконец, сам бывший министр и посол голый по пояс, в синих с желтыми разводами трусах до колен окучивал картошку вместе с женой и взрослыми деть-

ми. Выходит, дела у Грайвороненко пошли на поправку, о чем, кстати, свидетельствовала и возведенная совсем недавно, очень солидная металлическая ограда, отделявшая его участок от дороги, что вела к спорткомплексу.

Смайли передвинул бинокль выше и увидел непонятную картину: за человеком в расстегнутом пиджаке и сбившемся набок галстук гнались двое в камуфляжной форме. Вот они скрылись в леске, росшем на вершине холма. Затем Смайли услышал хлопок, похожий на выстрел.

– Роберт! – крикнул посол. – Немедленно идите сюда!

И он тут же сунул бинокль вышедшему на балкон помощнику:

– Посмотрите туда, на самый верх холма!

– Но я ничего не вижу, – пробормотал молодой человек.

– Дайте сюда! – Смайли вырвал у него бинокль. – И ничего не слышали? Было что-то похожее на выстрел!

– Может быть, – пожал плечами Роберт. – Анна играла на рояле, и я мог не слышать. А что, собственно, произошло?

Смайли очень хотел знать, что произошло. Поэтому он в который раз обшаривал биноклем противоположный берег. Все было как обычно: рыбаки с удочками, туристы рядом с палатками, машины у дороги... Он двинул биноклем правее в сторону старого деревенского кладбища, занимавшего вершину соседнего холма, и увидел, что по тропинке, выходящей по склону холма, к прибрежной дороге спускается писатель Гейм.

– Черт знает, что такое, – пробормотал Смайли и, отложив бинокль, направился в свой кабинет.

Смайли был знаком с Геймом. Этот писатель достаточно громко заявил о себе в годы перестройки как острый критик коммунистической системы. Хотя доставалось от него и националистам. В досье, собранном Стоппардом по материалам белорусской негосударственной прессы, Смайли нашел несколько статей Гейма, направленных против лидера националистов Мазяка. Тот, конечно, зарвался, назвал всю русскую литературу пронизанной духом азиатчины, и Гейм, родившийся в России, воспитанный на образцах русской культуры и сам пишущий по-русски, не мог ему этого простить. Националисты тогда сильно об-

рушились на Гейма, но он устоял, у него было талантливое и жаляще-желчное перо, которым он наносил удары налево и направо, не щадя ни старую бюрократию, ни патриотов, протаскивавших под лозунгами национального возрождения обычные националистические штуки. Перед своим отъездом Стоппард передал Смайли Гейма вместе с группой интеллектуалов, с которой стоило поддерживать контакты.

В последнее время Гейм свел на нет свое присутствие в независимых газетах, говорили, что он перенес инфаркт и занялся больше историко-литературной работой, у него было немало книг и статей по истории русской литературы и компаративистике. Смайли сам был филологом по образованию, специализировался по русской литературе, и некоторые книги Гейма были в его библиотеке.

Как бы там ни было, но раз в год, в День Благодарения, посольство продолжало приглашать Гейма на свои приемы в загородной резиденции. Хотя, подписывая очередное приглашение, Смайли испытывал чувство легкого раздражения. На приемах Гейм держался на грани скандала, который начинался уже с его приезда. Все гости, согласно специальной инструкции, вручаемой вместе с приглашением, должны были пересаживаться из своих машин в микроавтобусы, нанятые посольством, на площадке у въезда в спорткомплекс, – это километра за два от резиденции. Но Гейм на том основании, что его дача находилась на противоположной стороне, предпочитал приезжать на своей машине прямо к резиденции, что разрешалось только иностранным послам и высшим чинам Администрации Правителя. Смайли был свидетелем, как начальник охраны, морской пехотинец Бакли, выйдя за ворота, крикнул Гейму, не поддававшемуся на вежливые уговоры милиции отъехать подальше: «Go out!», на что писатель спокойноотреагировал отменной бранью, из которой можно было разобрать только «Заткнись, говнюк! Здесь наша земля!» Смайли запомнилась довольная ухмылка капитана милиции, командовавшего специально присланным для поддержания порядка нарядом.

А через две минуты, нахально оставив свой жалкий фольксваген рядом с шикарным «Бентли» китайского

посла и проходя мимо шеренги приветствующих гостей сотрудников посольства, Гейм, пожимая руку Смайли, не преминул отпустить шутку, повторяемую им последние три года: «Надеюсь, США продолжат свою миссию по спасению демократии во всем мире и прежде всего в несчастной Беларуси?»

Во время *party* на лужайке перед резиденцией, где были расставлены столы с напитками и закусками, Гейм, как-то стоя с бокалом в руках рядом со Смайли, сказал по-английски, кивнув в сторону подошедшего к ним с чудовищно переполненной разной снедью тарелкой бывшего председателя Верховного Совета толстяка Бушкевича: «Вот возможность поправить свое жалкое положение пенсионера». Все знали, что Правительство оставил ушедшего в оппозицию бывшего главу государства с пенсией, равной десяти долларам. Плохо понимавший английский Бушкевич вспыхнул и отошел, видимо, о чем-то догадавшись. Смайли не очень симпатизировал Бушкевичу, сдавшему свой пост только из-за того, что будущий Правитель, возглавлявший тогда в Верховном Совете комиссию по коррупции, уличил его в присвоении ящика гвоздей при строительстве личной дачи, но тем не менее заметил что-то о неуместности подобных шуток.

– Не волнуйтесь, господин посол, – заметил Гейм, – у нашего Бушкевича отменный аппетит, и его трудно испортить.

Смайли не удивился, увидев Гейма на тропинке, ведущей к кладбищу. Кажется, во время того же приема, когда он задел Бушкевича, Гейм поверг в изумление небольшую компанию, окружавшую посла, спросив его, не хотел бы он, Смайли, быть похороненным на этом кладбище.

– Да-да, я понимаю, вы американский гражданин... Традиции... Семейный склеп в штате Арканзас... Но разве можно сравнить его с этим милым, скромным деревенским кладбищем. Вы будете лежать, господин посол, среди пастухов и доярок, сельских пенсионеров, жутких пьяниц и людей набожных. Напротив, на противоположном берегу – ваша резиденция, в которой вы провели несколько лет своей жизни. Я полагаю, наш Правитель вам в этом не

откажет – быть похороненным на нашей земле. Это единственное, в чем он вам наверняка не откажет. Кстати, есть еще одно хорошее обстоятельство в пользу этого решения. Я также решил, что мне следует быть похороненным именно здесь. Мы будем продолжать наши милые беседы лежа рядом. В этом чудесном месте, на холме, перед которым простирается эта великолепная водная гладь. Лучшего места последнего успокоения, право, не найти.

И вот он ходит теперь к этому кладбищу. Высматривает, небось, местечко для себя. А, может, и для него? Чтобы предложить при очередной встрече? Смайли с раздражением посмотрел на кучу приглашений, которые он должен подписать к очередному Дню Благодарения. Может, не стоит на этот раз приглашать Гейма? Впрочем, это может быть замечено и неверно истолковано. Нужно иметь представление о разных точках зрения. Как это сказал один полуопозиционный аналитик: «Думать Беларусь».

Боже мой, почему он, Смайли, должен думать Беларусь? Логичнее думать о том, когда он насадит на свой пятидесятилетний и еще весьма боевой штык эту новую переводчицу Наташу, которая вот уже две недели вертит перед ним своей соблазнительной крутой попкой. Три дня назад он уже был близок к цели, но в кабинет вошла эта сухая стерва, его секретарша Джоди. Он вынужден был записывать прекрасно эрегированный член – что последнее время не всегда удается – в брюки, у него не получалось, и он еще больше злился.

Вообще, что за люди – белорусы? Их предки прятались в болотах. Он не приверженец евгеники, но здешняя человеческая порода, в жилах которой, как сообщил Смайли один оппозиционер, кровь наполовину смешана с картофельным крахмалом, явно нуждается в улучшении. «Мы бульбьяники», – со смешком добавил этот человек, заставив Смайли весь вечер рыться в словарях.

И вот Смайли должен «думать эту Беларусь». Господи, он был послом в Индонезии, Марокко и Румынии и никогда не «думал» эти страны. То есть он, конечно, готовился, читал все необходимое – по их истории, экономике... Но он их не «думал», поскольку все было достаточно понят-

но. Беларусь – страна непонятная. Конечно, если у людей вместо крови или даже наполовину течет картофельный крахмал, то они могут позволить Правительству пренебрегать белорусским языком и обращаться к ним на языке соседней великой России, правда с сильным акцентом. О, эти фрикативные и трущиеся «г» и «ч», выдающие белоруса, где бы он ни жил! Но здесь начинаются жалобы и крики националистов о том, как их давили веками с одной стороны русские, с другой поляки, и вот итог – отняли-таки национальное самосознание, свели к чисто декорационной стороне язык. У литовцев, у латышей и армян не отняли, а бедных белорусов буквально затоптали. Таков был несчастный ход истории... Бедные белорусы...

Смайли устал и от этих разговоров и от этих жалоб и стон. На одном приеме, который устроило министерство иностранных дел Польши в Варшаве он случайно встретил Мазяка, уже несколько лет как сбежавшего из Беларуси и живущего в польской столице на американское беженское пособие. «Запад предает белорусскую демократию», – сказал ему тогда этот отставной эмигрантский вождь. «А почему вы здесь, а не со своим народом?» – парировал Смайли. Мазяк злобно пробурчал что-то насчет белорусского КГБ и российских спецслужб и быстро отошел в сторону.

... Так как все-таки быть с Геймом? Нет, расставаться с ним преждевременно. Смайли выдернул из кучи приглашений цветной листок и торопливо подписал его.

VI

– Ему конец! Ему конец! – с этими словами публицист Трифон Курута буквально ворвался в нештукатуренный кабинетик на втором этаже дачи Федора Кириллова.

– Да погодите кричать, Трифон Сергеевич! Что, наконец, произошло? – Кириллов недовольно оторвался от своего ноутбука.

– Необыкновенная новость! Потрясающее событие! – продолжал кричать задыхающийся Курута.

– Да у нас таких новостей каждый день пруд пруди: то посадили кого-то, то кто-то пропал, то очередной декрет идиотский появился, – буркнул Кириллов.

Курута приятно смутился. Приятность наступила оттого, что он почувствовал знакомую литературность момента, дорогую его сердцу историческую совпадаемость с эпохой Пушкина и Булгарина, когда можно было и круто вознестись и жестоко расшибиться.

Курута был публицист и пушкинист одновременно, и это обстоятельство сообщало его деятельности благородный и одновременно двусмысленный культурно-исторический оттенок. Его статьи о приспешниках Правителя пестрели множеством пушкинских цитат, что, несомненно, поднимало эту убогую провинциальную публику в ее собственных глазах. Сам же Курута колебался между Пушкиным и Булгариным. Как бывший секретарь Центрального комитета комсомола Беларуси он, разумеется, больше тяготел к Пушкину, поскольку «пока свободой горим...» Но душа жаждала Булгарина. Что Пушкин? Романтик, безобразник, шалун. И жизнь, собственно говоря, прошалил. А вот Фаддей Венедиктович знал цену всему. И с Наполеоном встречался, и двум русским императорам послужил, и рукописи Грибоедова сохранил. И сам стал знаменитым писателем, зачинателем на Руси жанра великолепного бульварного романа. Свою газету издавал, два журнала. Всего натерпелся, но выстоял и вошел таки в историю литературы. Был, конечно, несправедливо оклеветан в советские времена. Сотрудничал, мол, с Третьим отделением, на Пушкина доносил. Ерунда все это. Булгарин был государственным, патриотом России. Таким же как Пушкин. И чем его записки в Третье отделение отличаются от поданной на Высочайшее имя записки Пушкина о народном воспитании? Та же забота о подрастающем поколении, о нравственности общественной, о правильном направлении умов. Впрочем, Булгарин был очень непрост, поскольку был литвин, а это значит белорус, хотя и польского разлива. Понять Булгарина до конца – если это возможно – еще предстоит, и Курута немало времени посвящает этому тонкому делу...

Кириллову все эти тонкие аллюзии чужды. Хотя новость, принесенная Курутой, и впрямь оказалась из ряда вон: Правитель в интервью солидной германской газете «Хандельсблат» признался чуть ли не в любви к Гитлеру. Кириллов буквально впился в распечатку с новостного сайта Белорусской службы радио «Свобода».

«В свое время, – читал он, – Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только плохое связано в Германии с известным Адольфом Гитлером. Вспомните его власть в Германии. Немецкий порядок формировался веками. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента. Я подчеркиваю, что не может быть в каком-то человеке все черное или все белое. Есть и положительное. Гитлер сформировал мощную Германию благодаря сильной президентской власти. Германия поднялась благодаря сильной власти, благодаря тому, что вся нация сумела консолидироваться и объединиться вокруг лидера. Сегодня мы переживаем такой же период времени, когда нужна консолидация вокруг одного человека или группы людей, чтобы выжить, выстоять и подняться на ноги. Поэтому на этом этапе определяющее, ведущее, я бы сказал, значение будет иметь глава государства – президент...»

И, наконец, полный провал:

«Немецкий порядок, достигший при Гитлере наивысшей точки, это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента».

– Ну? – спросил Курута. – Вы поняли, что это начало его конца?

Кириллов не спешил с ответом. Он размышлял. Конечно, Правителя занесло. Но было ли это проявлением вялотекущей шизофрении, которую будто бы установили у него близкие к оппозиционным кругам психиатры, или своеобразно рассчитанный тактический ход? Еще одна проба испытать общественное мнение внутри страны? В Европе, в мире? Как там отнесутся? Правитель уже совершил другие пробы – избил и вышвырнул из зала заседаний Верховного Совета группу оппозиционных депутатов, заменил государственные герб и флаг, провел

абсолютно незаконный референдум... И все сошло с рук. Запад все это проглотил, что-то вяло прошамкав о каких-то нарушениях... Мюнхенство у Запада в крови. Европейский обыватель желает косить лужайку перед своим домом, ездить на Лазурный берег, он следит за своим банковским счетом и курсом евро, и ему глубоко насрать на проблемы с правами человека и вообще с демократией в какой-то занюханной Беларуси, о которой он еще несколько лет назад вообще ничего не знал, да и сейчас ничего не знает, кроме того, что там сидит какой-то нелепый Правитель.

Нет, диктаторский ход с Гитлером следует обдумать.

– Я прогуляюсь полчаса, а вы, Трифон Сергеич, пожалуйста, набросайте проект обращения к народу... Там посмотрим, – бросил он Куруте, уже спускаясь по лестнице.

На лужайке перед домом услышал стук клавиш и понял, что Курута уже сидит за его ноутбуком. «Что значит – творческая жилка», – подумал он с неудовольствием. Решил, что дойдет до мола, выстроенного нуворишем ким, чей безобразный особняк из каких-то башенок и закруглений, прозванный окрестным людом «Брестской крепостью», высился напротив на насыпном холме. С Каржицким они начинали в конце восьмидесятых, когда пошли кооперативы. От него Кириллов и услышал расхожую поговорку: «Куй, пока Горбачев!» Ковать начали с продаж еврейских квартир. Евреи уезжали, не имея права продавать свои квартиры. Они с Каржицким создали посредническую контору, результаты действий которой удовлетворяли обе стороны – владельцев конторы и евреев. Потом переключился на торговлю компьютерной техникой. И пошло-завертелось... Но когда появились очень большие деньги, он сказал себе: стоп, нужно действовать серьезно, не размениваться на мелочи. Каржицкий отвалил в сторону, занялся перевозкой овощей из Польши. А он стал строить жилье, организовал свой банк, который предлагал застройщикам дешевые кредиты. О нем заговорили как о молодом и не только удачливом, но и справедливом бизнесмене, помогающем людям. И он укреплял эту веру реальными делами. Стал издавать свою газету, которую назвал просто и вызывающе – «Газета Федора Кириллова».

Строительный бизнес, банк, газета – обозначились черты холдинга. Он стал депутатом Верховного Совета, потому что действительно хотел делать большие дела, напрямую участвовать в реформировании не только экономики, но всей жизни страны. Беларусь с ее неспившимся до конца и вполне трудолюбивым народом, с ее отличной инфраструктурой, с ее прекрасными промышленными предприятиями, только нуждавшимися в лучшем технологическом оснащении, наконец, с ее выгоднейшим географическим положением между Россией и Западом – могла стать восточноевропейской Швейцарией. Об этом Кириллову не раз говорил еще прежний американский посол Стошпард.

– Как вы думаете, почему Клинтон во время своей поездки в 1992 году многим постсоветским столицам предпочел Минск? – спросил он как-то. И тут же ответил: – Это был знак, который у вас не поняли. Знаете, Штаты в начале девяностых на многое были готовы для Беларуси. Мы понимали, что наши инвестиции и кредиты будут разворованы в необъятной России, для экономического подъема которой нужны десятилетия. И с Украиной нелегко по той же причине. Прибалты не в счет. Это лилипуты. Их успех не будет заметен. А вот Беларусь! Вполне может получиться приличное европейское государство! Десять миллионов населения – не так уж и мало по европейским меркам. Страна компактная, прекрасно организованная, находящаяся на самых западных рубежах бывшего Советского Союза, – это могла бы получиться великолепная выставка новой жизни для всего постсоветского мира. Мы знаем: ваши рабочие и инженеры, ваши ученые уже за триста-четыреста долларов первоначальной зарплаты показали бы прекрасные результаты. Вы гораздо быстрее Польши, не говоря о Литве и Латвии, приблизились бы к стандартам Западной Европы.

От этих речей захватывало дух. Кириллов жаждал быть пионером этого вживления, встраивания Беларусь в Запад. И надежды как будто имелись для благополучного процесса. Но в 94-м как с неба свалился Правитель. Никто не ожидал прихода этого беспардонного деятеля. Но он пришел и стал давить буквально всех, но прежде всего оппозицию, бизнес, негосударственную прессу.

И ведь была возможность убрать наглеца и негодяя. Осенью 96-го года, когда Правитель опять инициировал референдум, на этот раз по сделанному под себя проекту Конституции, на дыбы встал Верховный Совет. Точнее раскололся парламент. И была начата процедура импичмента в Конституционном суде. Прилетели мирить Правителя и парламент из Москвы Черномырдин, Селезнев и Строев. Эти три демагога-имперщика обвели вокруг пальца возглавлявшего Верховный Совет колхозного доктора наук, старого дурака Шарецкого, подписавшего какую-то бумажку о согласительной комиссии. А когда Правитель, почувствовав силу и поддержку России, отбросил ее, он завопил, обращаясь к нему на заседании парламента: «Ведь вы же обещали! Вы меня обманули! Посмотрите мне в глаза!» Но истинные правители не смотрят в глаза, они смотрят поверх голов. И правильно делают. И тогда Кириллов, понимая, что все гибнет, выскочил на трибуну и заявил: «Я бывший военный, лейтенант запаса. Дайте мне взвод солдат, я готов арестовать диктатора!»

Правитель припомнил ему эти слова спустя два года. Было сфабриковано дело в связи со строительством шикарного дома для семей дипломатов на Лодочной улице, которое вела его фирма. Какой-то некондиционный кирпич, не те накладные... Кириллова не только разорили, но и на шесть лет упрятали в тюрьму. Запад объявил его узником совести, была шумиха в газетах, он вышел, отсидев четыре года. И первым делом повесил в кабинете своей квартиры портрет Мутина, потому что знал, что своим досрочным освобождением обязан российскому президенту. В годы своего бизнес-подъема у него возникла нужда побывать в Петербурге, где он и повстречался с тогдашним заместителем Собчака, молодым быстроглазым Володей Мутиным, и они мгновенно нашли общий язык, как-то понравились друг другу, и дело, с которым он приехал, было решено скоро и положительно. Тогда он уверовал в Мутина, точнее в то, что именно при поддержке России Правитель может быть свергнут и в Беларуси наступят демократические перемены. Несмотря на то, что на нем висела подписка о невыезде, он побывал в Москве, и хотя с самим Мутиным

встретиться не удалось, он сумел заручиться поддержкой людей из его окружения, они, можно сказать, благословили его на оппозиционную политическую деятельность. Он должен был использовать свой капитал политэка, тюремного сидельца-страдальца за белорусскую свободу и справедливость, хотя ему предлагали выгодную эмиграцию – отъезд в те же Штаты, где он вместе с семьей мог воспользоваться правами признанного политического беженца, а затем, опираясь и на это преимущество и на свой деловой опыт, поучаствовать для начала в какой-то консалтинговой кампании, а потом и свое дело создать. И кое-кто из друзей советовал так и поступить. Но это был не его путь.

И тогда он обратился со своим Первым посланием к белорусскому народу, потому что должен был объяснить людям свой выбор. Четыре тюремных года дали возможность о многом подумать...

VII

Кириллов давно уже миновал далеко вдававшийся в водную гладь бетонный мол и сейчас шел по тому участку прибрежной дороги, который он окрестил про себя как «Парадиз». Справа от дороги целый городок шикарных вилл, самонаименовавшийся как пансионат собственников «Любичи», отгородился от прохожих и проезжающих высокими коричневыми заборами и красными шлагбаумами с сигнализацией, за которыми виднелись чуть за кустами спрятанные сбоку будки охраны. А слева собственники «Парадиза», отхватив и отгородив стальной сеткой приличный кусок берега, построили не просто пляж, а некую зону релаксации и наслаждений. Впрочем, буйство фантазии и самих желаний не превосходило вполне разумный набор: желтый песок на берегу – это для загара, качели и кресла под специально оставленными дубами – это для отдыха в тени, площадка для волейбола, широкий причал для катера, укромно развернутая тылом к дороге фундаментальная

беседка, два капитальных мангала, еще кой-чего по мелочи соответственно запросам небедных людей. Кириллов знал, что одна из здешних вилл принадлежит Каржицкому и что это была его идея с отгороженным пляжем у дороги. Территория по закону считалась водоохранной и не подлежала частному отчуждению. «Это какие же взятки сунули местной администрации и выше, чтобы отхватить такой кус земли», – подумал Кириллов. Может, и не зря в академическом поселке тишком ведутся разговоры, что собственники из «Любичей» подбираются все ближе к воротам пансионата «Наука». Говорят, что кое-какие дома у «академиков» уже стали скупать целиком, т.е. не половину покупать у одного владельца, а сразу весь дом у владельцев обеих его частей. Ну и перестраивать начали – каждый на свой манер: и новые веранды, и крыша уже не крытая рубероидом или примитивным шифером, а дорожкой цветной черепицей, да еще и двускатная, с мансардой. А кое-кто из новых богатых владельцев умудрился на своих несчастных сотках и второй дом вбухать – с гаражом полуподземным, сауной и даже бильярдом.

Кириллов досадливо махнул рукой. Что за мысли паскудные лезут? Это все теща Ирина Терентьевна дурит ему голову: мол, скупают нас здесь скоро. Но он ведь не собственник, дача не его, а тестя, Ивана Захаровича, сотрудника Института ядерной физики. Он, Кириллов, когда и при деньгах был, о своей загородной вилле даже и не помышлял. Зачем она ему? Он весь был в деле. Да и Амалия не заикалась. Детям, Сергею и Наташке, было хорошо и привольно здесь на дедо-бабиной даче. Всем места хватало. Правда, Амалия потом убедила, и он на ее имя купил вторую половину дома у вдовы умершего членкора, математика Забродского. Мало ли какие люди могли поселиться рядом... Но принципиально ничего не делал в новоприобретенных помещениях. Вторая половина так осталась неоштукатуренной, можно сказать, нежилой, только в самой маленькой комнатке Кириллов сделал себе кабинетик, поставил письменный стол, кресло и маленький диванчик. Здесь он работал. Здесь собирались члены Национального комитета, возглавившего Движение Федора Кириллова.

Проехавший мимо грузовик обдал Кириллова облаком пыли, когда оно стало оседать, он увидел шагах в двадцати знакомую тощую фигуру писателя Гейма. Они поздоровались вначале достаточно сухо, Кириллов сказал, что заканчивает прогулку и попросил разрешения сопровождать писателя.

– Кажется, вы хотите мне сделать какое-то предложение, – сказал Гейм.

– Это вам так кажется, – ответил Кириллов. – На самом деле, у вас есть предложение к нам.

Они легко и беззлобно пикировались вплоть до ржавых и смятых ворот кооператива «Наука». Там Кириллов остановился.

– Господи, – сказал он просто и проникновенно, – Виктор Владимирович, ведь вы хотите быть с нами. Это же ясно.

– А с кем, собственно, честь имею? – воззрился на него Гейм.

– С будущим президентом Беларуси, – также просто и даже буднично ответил Кириллов.

– В Наполеончика, сударь, играете?

Кириллов заволновался:

– Ну почему, скажите, почему, когда человек желает что-то действительно полезное сделать, для страны, для общества, для людей, сразу начинаются разговоры о каком-то провинциальном бонапартизме?

– Да, я читал ваше эссе, кажется, «Мой выбор». Неплохо, неплохо... Искренность, способная вышибить даже слезу у кое-кого. Правда, с патетикой вы несколько перебрали... Чувствуется, не было хорошего редактора. Но зачем же призывать к бунту? Вы ведь образованный человек, Федор Алексеевич, и знаете, что всякая власть от Бога.

– Не нужно лукавить, Виктор Владимирович, – Кириллов заговорил еще более нервно, – вы лучше меня знаете, что не всякая власть дается Богом в радость. Есть и такая, которая дается в наказание народу, отошедшему от истинных своих путей.

– А вам ведомы эти пути? – Гейм остановился и взглянул спутнику в глаза. – Только не плетите, Бога ради, про свободу и демократию. Вы видите это, – Гейм обвел рукой

некий невидимый круг, включавший в себя и дачи кооператива «Наука», и владения коллектива собственников из «Любичей», и сиротливо зиявшие между ними деревеньки в два-три двора и еще что-то оставшееся за его пределами. – Вот это нужно людям: тишина, спокойствие, грядки и сотки, дачи и хаты, козы и автомобили...

– Но вам-то нужно другое, Виктор Владимирович, и мне тоже, – как-то устало-обреченно сказал Кириллов. – И еще есть люди... Другие люди...

VIII

Другие люди находились совсем недалеко. Был у Гейма еще один маршрут, которым он пользовался очень редко, а точнее тогда, когда несколько дней стояла жара, прибрежная дорога высыхала и пыль на ней от проезжавших машин стояла мощными, плотными клубами, отравляя и дыхание и желание продолжать прогулку. В такие дни он направлялся по тенистой лесной дороге, начинавшейся от другого, лесного въезда на территорию кооператива и быстро выводившей к бетонной автостраде на Витебск. Гейм не любил этот маршрут, потому что он был очень короток, километр с небольшим, а потому нужно было поворачивать и делать таким образом два прохода туда и обратно, чтобы набрать хотя бы несчастных четыре километра, тогда как доктора велели ходить не менее шести-восьми, чтобы получалась нужная сердцу нагрузка. По этой лесной дороге-отрезку тоже ходили машины, но реже, чем по прибрежной, и, разумеется, здесь не было пыли и даже в солнечные дни было сыровато. Гейм не любил эту дорогу не только за ее короткость, за полную замкнутость – слева и справа тянулись высохшие ели и сосны, местами сплетаясь верхушками, образуя узкий, без неба, коридор. Была еще одна причина этой нелюбви. Метров за сто до выхода лесной дороги к бетонной магистрали, слева начиналась ограда базы отдыха Комитета государственной безопасности. Это были тылы комитетской территории, а ворота с будкой охраны,

находились гораздо выше, напротив съезда с шоссе, и были не очень видны оттуда, поскольку прикрывались частично деревьями и кустами. Гейм никогда не подходил близко ко входу на базу. Просто ему нечего было там делать. Правда, однажды, когда он, от тоски изменив своим правилам, попер напрямик от прибрежной дороги, через лес к шоссе и проплутав километра два, вышел с противоположной стороны к тем же воротам, у него произошла неприятная встреча. К будке охраны подрулил мерседес, из которого вышли три человека. Одного Гейм узнал. Это был генерал КГБ Лез, с которым он как-то встретился на приеме в польском посольстве. Поляки в тот раз отмечали журналистов, писавших на польские темы, вручали какие-то жалкие премии. Кто-то сказал Гейму, что надо бы выступить с ответным словом, поблагодарить. Гейм успел к этому времени выпить две рюмки водки и собирался основательно закусить, к чему располагал обильно уставленный закусками стол. Может быть, отчасти раздосадованный, что помешали его планам, он выступил с особенным блеском, нарочито подчеркивая особенности польского произношения. Лез подошел к нему с бокалом вина и поздравил:

– Как это вы ловко сказали насчет того, что НАТО удовлетворяет национальные амбиции поляков, но в большей степени их удовлетворило бы признание Россией своих исторических вин перед Польшей. То ли комплимент, то ли...

Гейм быстро перевел разговор на что-то другое, и они расстались вполне довольные друг другом.

Сорок пять лет назад Гейм впервые побывал в известном каждому жителю столицы дворце, построенном в стиле сталинского классицизма и растянувшимся на целый квартал детище Лаврентия Цанавы, сначала наркома, а потом министра госбезопасности БССР. Говорят, что он уговорил архитектора добавить на левом углу крыши башенку. А во дворе находится круглое здание следственного изолятора, именуемое в народе «американкой». Почему, кстати, «американка»? И почему у этих сталинских министров-энкаведистов одинаковые имена? Лаврентий Берия, Лаврентий Цанава... Понятно, грузины... Что-то здесь есть...

А получилось все так глупо. Стоял жаркий, душный июль шестьдесят первого года. Через неделю начинались экзамены в университете, двадцатилетний Гейм поступал на отделение журналистики. Что-то ему понадобилось в Центральном книжном магазине. Продащица никак не понимала дородного лысого иностранца в пестрой рубашке. Гейм не мог не проверить свое знание английского. Пожилой американец буквально вцепился в него как в подброшенный спасательный круг: оказалось, что ему нужно было попасть в банк, чтобы обменять валюту. Банк был рядом, через проспект перейти, и Гейм согласился проводить. У дверей банка он в нерешительности остановился. Это был первый иностранец в его жизни, и он не знал, как себя следует вести. Да и в банке он никогда не бывал. Американец с нерешительной улыбкой попросил Гейма пройти с ним. В обменную кассу на втором этаже очереди не было, Гейм стоял рядом с американцем и совсем растерялся, когда молоденькая кассирша, обменяв доллары его спутника, обратилась к нему:

– Are you?

Гейм в ужасе замахал руками:

– No, no!

Когда они выходили, буквально у дверей банка, Гейма остановил молодой человек в сером костюме и белой рубашке, при галстук. Не обращая внимания на американца, как будто его и не было, он сказал:

– Прощу вас задержаться.

Американец улыбнулся Гейму жалко-виноватой улыбкой: он все понял. А Гейм в каком-то служебном кабинете пытался что-то объяснять, но молодой человек в сером костюме не слушал его, он куда-то звонил, а потом сказал: «Сейчас поедет». И действительно пришла «Волга», хотя ехать пришлось буквально триста метров, до того самого дворца с башенкой Лаврентия Цанавы. Хмурый подполковник с орденскими планками не перебивал Гейма, спешившего рассказать, как мама, учительница начальных классов, упростила соседку по квартире, старую преподавательницу иностранных языков Берту Соломонову заниматься с ее Витенькой английским и, если можно, еще

и немецким. Хотя тогда, сразу после войны, это было совсем не модно – учить иностранные языки. И даже напротив, поскольку шла борьба с космополитизмом. Но мама хотела вырвать сына у улицы, где десятилетний Витя пропадал до поздней ночи в сурово-отчаянной компании послевоенных подростков с разбойничьей городской окраины. Мама шила Берте Соломоновне крепдешиновое платье, а Витя играл с Бертой Соломоновной в слова – день они общались на немецком, на другой – на английском. Старая еврейка знала, как обуздать дитя улицы. В школе ему нечего было делать на уроках английского, и он пропускал их, как и уроки белорусского языка, который не обязан был изучать как сын военного. И вот сейчас, заработав два года рабочего стажа фрезеровщиком на заводе, он сдал документы в университет, и если вы, товарищ подполковник, туда сообщите... Ведь ничего не было, совсем ничего, только проводил американца и всё. Хотел испробовать свое знание английского. Продавщица в магазине может подтвердить, как все было. Но если сообщить в приемную комиссию, вы понимаете, товарищ подполковник?..

– Вообще-то мы обязаны это сделать, – сказал размеренно кагэбэшник. – Уж очень подозрительный контакт с иностранцем... Банк... Валюта...

– Но я же ничего у него не просил, не брал, – чуть не заикался Гейм.

– Ну этого мы, положим, не знаем, о чем вы там говорили. А отделение журналистики, товарищ Гейм, куда вы стремитесь поступить, находится под специальным контролем ЦК КПБ. Журналисты, как известно, боевой отряд партии. Вот так...

Но все закончилось благополучно. Гейм написал объяснительную – как все было. А подполковник положил листок в папку и сказал:

– Вот теперь у нас будет документ, так сказать, дело... Постарайтесь, чтобы оно не очень разрослось. А пока сдавайте смело экзамены.

Он даже руку ему пожал на прощанье.

У самых дверей Гейм услышал:

– Are you o, key?

Гейм четко и радостно ответил:
– Yes, I am. Thank you wery much.

...Лез сделал полуприглашающий жест рукой, то ли – давайте поговорим, то ли еще щедрее – заходите в гости. Гейм сначала приложил руки к сердцу – в знак благодарности, а потом широко развел – мол, не могу, извините.

Хотя куда было спешить? Но побывать на базе отдыха КГБ – нет, это было решительно невозможно! От этого пахло дурным шпионским романом, провокацией, испорченной репутацией, наконец. Своей репутацией Гейм дорожил. Обрушивая публицистические удары направо и налево, он знал, что никому из его противников не удастся упрекнуть его в единственном – в сговоре властью, в том, что его купили. Вот и у Синявского, этого гиганта русского диссидентства, все подмочилось из-за той же кагэбистской накладки.

Будучи недавно в Париже, Гейм прямо спросил Наташу Горбаневскую, что стоит за всеми этими публикациями, то разоблачающими, то намекающими в адрес Абрама Терца. Старая борчиха с Советской Системой, осевшая более двадцати лет назад во Франции, живущая в жутко захламленной на богемный манер квартирке, соратница покойного Максимова, ныне всеми покинутая и живущая единым духом поэзии, ответила неохотно, но недвусмысленно:

– Но ведь он сам об этом написал.

Гейм помнил эту раннюю вещь Терца – поездка героя в Вену еще в 50-е годы, когда такое было вообще невозможно для рядового литератора.

Он вспомнил свою давнюю встречу с Синявским в Москве, на проспекте Вернадского, в квартире Майи Злобиной.

– Сейчас придет один человек, – сказала Майя, – тебе будет с ним интересно.

Они пили на кухне вино, Синявский что-то спрашивал про гонимого белорусскими партийными властями Быкова, а Гейм натужно пытался понять, что связывает их, Синявского и Майю. Вчера на ее квартире побывал бывший муж Майи писатель Анатолий Злобин, какой-то неуклюжий, обозленный мужик. Сегодня вот – этот критик из Институ-

та мировой литературы. Когда двадцатидвухлетний Гейм буквально таранил в постели тридцатипятилетнюю Майю, известную рецензентку «Нового мира», специалистку по французской литературе и автора статей в журнале «Театр», ему казалось, что его превосходство обеспечено во всех областях. Потому что еще в Астрахани, куда она приехала из Москвы писать очерк на тему «Город и театр», а он был всего лишь практикантом от Белорусского университета в областной газете «Волга», он поразил ее чтением неизвестных ей стихов Мандельштама и Гумилева. И гордо, ловя завистливые взгляды коллег по газете, он сопровождал ее, красивую, черноволосую, стройную, с настоящим римским профилем, на скучные спектакли областного драмтеатра, потом был ужин в ресторане при гостинице, а затем в ее номере – Гейм с трудом дожидался этого часа – творились невероятные подвиги. Отодвигаясь от него, она как-то полуудивленно сказала:

– Ты прямо какой-то поручик.

Это был несомненный комплимент. В Москве, когда он, так сказать, пролетая по маршруту Астрахань–Москва–Минск, забрался в ее постель уже по некоему хозяйско-дружескому праву, она приняла его не то чтобы холодно, но как-то отстраненно. И планы про совместные походы по московским театрам и кино, строившиеся в Астрахани, уже не возникали.

Он решил, что нельзя быть скучным и однообразным и, зная об особой требовательности и искусственности столичных женщин, но и трепеща от собственной наглости и возможности нарваться на возмущение, предложил ей самый дорогой предмет. Нельзя сказать, что это особенно вдохновило ее, но она взялась за дело с необыкновенным умением и довела его до третьего или четвертого вздога, самого яркого и необыкновенного по силе, когда показалось, что исторгается все тело.

Когда спустя год, изгнанным из университета московским солдатом срочной службы, он пришел снова к ней на Вернадского, то застал высохшее лицо, застывшие слезы, мрачно горящие глаза.

– Андрея арестовали!

Они вместе ходили к зданию суда, какие-то люди подходили к Майе, совали бумаги с какими-то воззваниями или прошениями. Однажды подошла невысокая дама в каракулевой шубке, со строгим лицом и крикнула:

– Ты, блядь, перестань сюда ходить!

Это была Мария Розанова, жена Синявского. И они перестали ходить. А потом Майя переехала с проспекта Вернадского в Малый Лёвшинский переулок, он побывал там раз, о чем-то поговорил со старушкой-матерью Майи, и на этом все кончилось.

Сидя в парижской квартире Горбаневской, Гейм опасался, не спросит ли Наташа, был ли он у Розановой, этой злой фурии русской эмиграции последних двух десятилетий, превратившей похороны Андрея Донатовича в жуткий маскарад (Она на пиратский манер завязала ему, лежащему в гробу Абраму Терцу, один глаз черной повязкой). Но Наташа не спросила, хотя какой-то роман или мемуарную книгу Злобиной, вышедшую, кажется в Америке, и подробно описывающую московскую среду 60-х годов, они вспомнили. Но так, мельком...

IX

Генерал Комитета госбезопасности Республики Беларусь Сергей Данилович Лез был отлично осведомлен об этой странице жизни молодого Гейма – его яхшаниях с московскими диссидентами: походах на Красноармейскую улицу на квартиру писательницы Инны Варламовой, которая познакомила Гейма со своими друзьями диссидентами Копелевыми, публицистом Марком Поповским, корреспондентом «Вашингтон Пост» Дэвидом Мелтерном, с вдовой Мандельштама Надеждой Яковлевной, ближайшей подругой Ахматовой, в молодости считавшейся невестой ее сына Льва Гумилева литературоведшей Эммой Григорьевной Герштейн и другими примечательными личностями. Знал генерал Лез, что Гейма с четвертого курса филфака университета отправили в армию, что по-

пал он под Красноярск, в зону, где военно-строительные части Министерства среднего машиностроения работали на спецобъектах секретнейшего Горно-химического комбината, на котором велась выработка плутония. А спустя год, после нехорошей истории с антисоветскими записями, которые вели члены литературного объединения, организованного младшим сержантом Геймом, его все-таки перевели в Москву и поручили важное дело – написать историю военно-строительных частей Средмаша. В этот период он и связался с московскими литераторами-диссидентами. И потом, уже после армии, не прекращал контактов с ними, наезжая в Москву из Минска. Все это было отражено в той самой папочке, что была заведена на Гейма после его знакомства с американцем в книжном магазине.

И новейшая история Геймовой жизни нашла в ней отражение: все антисоветские публицистические статьи Гейма периода перестройки, а затем первых лет суверенной Беларуси, когда он обрушился на националистов, его фельетоны, высмеивавшие Правителя, и, конечно же, документы о его, Геймовых, связях с сотрудниками американского и польского посольств; особый раздел составляли материалы о контактах Гейма в недавний период его жизни в Варшаве. Эти факты представляли особенный интерес, поскольку Гейм был вхож не только к министру иностранных дел Польши Геремеку, но и к самому президенту Квасьневскому, с которым при посредстве своего переводчика русиста Дравича свел знакомство еще в конце семидесятых годов, когда тот был редактором газеты «Штандар млодых», а Гейм наезжал в Польшу в связи с тем, что там издавали переводы его исторических повестей.

Генерал Лез знал, что сейчас Гейм отошел от активной публицистической работы, вроде бы ему надоело критиковать Правителя, к тому же какие-то у него возникли трения с редактором «Народного голоса» Безвредичем, еще поступали сведения, что он занялся чисто литературной работой. Лез подумал о том, что Гейму в силу его темперамента трудно жить без участия в газете и что какие-то

существенные причины могли бы заставить его вернуться к публицистике. Лез любил читать фельетоны Гейма, он не всегда соглашался с его мыслями, но блестящий стиль неизменно вызывал восхищение, и нередко за вечерним чаем Лез читал жене вслух отдельные места.

Сейчас на базу отдыха КГБ должен был приехать старый приятель Леза, начальник криминальной милиции Министерства внутренних дел генерал-майор Алексей Спиридонович Малатик. Лезу представилось, что знакомство с Малатиком, человеком острых, безапелляционных суждений, могло бы расшевелить Гейма. Популярный публицист мог быть чрезвычайно полезным человеком в случае изменения ситуации в стране, а в том, что такая ситуация назревает, Лез был абсолютно уверен.

Генерал Малатик выглядел усталым и раздраженным. Они двинулись по глухой тропинке заросшего, неухоженного парка. Алексей Спиридонович говорил нервно, отрывисто.

– Ты помнишь, Сережа, подполковника Вдовиченко?

– Кажется, из СОБРа? – припомнил Лез.

– Ну да! Так вот он уже полковник и возглавляет спецбатальон, подчиняющийся лично председателю Совета безопасности Крейману.

– Ну батальон-то существует уже год.

– А тебе известно, чем они занимались этот год?

– Ну, – улыбнулся Лез, – нам многое известно, хотя вы, милиция, теперь на первом плане.

– Конечно, – устало сказал Малатик, – вы, кагебисты, интеллектуалы, Правитель вас поэтому и не любит. А мы, милиционеры, простые и не раздумывающие костоломы, поэтому нам, разумеется, больше доверия.

– Так что там с этим спецбатальоном? – спросил Лез. – Я знаю, что они убрали кое-кого в уголовной среде, из тех, что метили в белорусские олигархи.

– Теперь у них другая цель. – Малатик присел на скамью, снял фуражку.

– Кто?

– Клитко.

Теперь и Лезу пришлось сесть на кресло рядом с Ма-

латиком. Бывший министр внутренних дел генерал Иван Михайлович Клитко после своего конфликта с Правителем и отставки ушел в открытую оппозицию, связался с оппозиционными политиками, стал выступать на митингах и в «Народном голосе». Больше того – под его руководством стал создаваться Союз офицеров Беларуси. Это уже было сверхсерьезное дело: к отставному министру, человеку популярному, бывшему отцом родным для своих подчиненных, выбившему для многих и квартиры и другие блага, потянулись все обиженные и недовольные и в армии и в милиции, эти люди были профессионалами, многие сохранили у себя оружие.

Лез дружески-успокаивающе положил руку на плечо Малатика.

– Ты предупредил Ивана?

– А как? – чуть не крикнул Малатик. – За мной наблюдение чуть ли не как за резидентом ЦРУ. Новый министр Хомутов прекрасно осведомлен о моих дружеских отношениях с Иваном. И ты знаешь, до чего дошли наглцы: абсолютно не стесняются, прослушку установили и в квартире и на работе, по городу сопровождают без малейшей маскировки. И до базы вашей сопровождали открыто, хотя я докладывал Хомутову, что мне нужно некоторые проблемы служебные согласовать с тобой.

– Значит, ты хочешь, чтобы я предупредил Ивана?

– Больше некому, – вздохнул Малатик. – Только вряд ли от этого польза будет. Иван закусил удила, прет на рожон. Да и не верит, что Правитель решится на то, чтобы убрать его.

– Почему Правитель? – удивился Лез. – Ты, конечно, уверен в том, что Крейман ничего не предпринимает без приказа Правителя?

– Конечно! Этот шкловский манекен предан ему как самая верная собака.

– А я думаю, что все гораздо сложнее.

– Неужели, Крейман ведет свою игру? Я никогда в это не поверю.

Лез тоже в это не верил. Он знал, что такое Крейман. Капитан райотдела шкловской милиции лез из кожи вон,

будучи доверенным лицом на выборах в Верховный Совет будущего Правительства. Тогда еще ни о каком завоевании высшего поста в стране, разумеется, и не мечталось. Но Крейман поставил на упрямого директора плодоовощного комбината и пошел за ним – след в след, ни на сантиметр не сбиваясь с курса. И тот, став Правителем, оценил эту верность. Но еще больше оценил он способность Креймана угадывать желания без всякого приказа. Это было важнейшее качество, потому что Правитель, хотя и обладает абсолютной властью, не всегда может отдать приказ. Бывают такие ситуации...

– А ты знаешь, – сказал Лез, отрываясь от своих раздумий, – что Иван бывает здесь?

– Где – здесь? У вас на базе? – встрепнулся Малатик.

– Ну это совсем ни к чему, – сказал Лез. – Здесь – это в соседнем с нами дачном кооперативе «Наука». И что самое печальное – водит он там кампанию с ни с кем иным как с Кирилловым. Я сам проезжал по берегу, видел – гуляют и воркуют как голубки.

– Дело дрянь, – помрачнел Малатик. – У тебя есть информация?

– Что-то там варится – это несомненно, – сказал Лез. – И что самое неприятное – они ведь могут помешать нам.

– Выходит, нужно идти на контакт?

– Получается, что так, – заключил Лез и неожиданно спросил: – А ты по дороге сюда не встретил случаев писателя Гейма?

– Какого писателя? – вроде как недослышал Малатик. – Ах, этого... Из «Народного голоса»... Кажется, кто-то свернул на лесную дорогу, когда я к вашему КПП подъезжал. Неужели этот демократ в гости к тебе заходит?

– Да нет, – усмехнулся Лез. – Это он прогулки совершает после операции на сердце. В том же, между прочим, садоводческом товариществе, что и Кириллов, дачу имеет. Кстати, я думаю, неплохо бы тебе с ним знакомство свести.

– Это зачем же? – напрягся Малатик.

– А почему бы не поделиться с ним кой-какой информацией? – Лез внимательно глянул в лицо старому при-

ятелю. – Разумеется, когда это нужно будет. Он человек талантливый... С именем...

– Не знаю, – вздохнул Малатик. – Пока ни с кем и ничем делиться не намерен.

– Тогда, может, поделишься информацией по убийству Скарбца?

– Да у вас самих, кому положено, по этому делу все известно. Скарбец должен был передать деньги от заговорщиков, крутящихся вокруг Кириллова, главному тренеру по биатлону Васильчуку, а тот – надежному стрелку. Но служба безопасности Правительства сработала на опережение. Скарбца завалили, а деньги пропали.

– Да это я знаю, знаю! – досадливо махнул рукой Лез. – Но кто стукнул? Откуда протечка?

– Откуда? – прищурился Малатик. – Из ваших, точнее, из кирилловских кругов. Больше неоткуда.

– Думаешь? – напрягся Лез. – А что это ты вдруг про ваших-наших заговорил? Вроде ты как со своими людьми в стороне. Так, что ли?

– Мои люди вне подозрений, – угрюмо отрезал Малатик. – Ты лучше скажи, план отменяется или нет?

– Какая отмена? – изумился Лез. – Если есть протечка, в ближайшие дни могут добраться и до нас с тобой. И спортивный праздник, который Он будет открывать в Раубичах, никто не отменял. Кириллов уже перевел такую же сумму на имя Васильчука в Вильнюс, в банк «Снорис».

– Упорный мужик.

– Ему терять нечего.

– А нам? – Малатик уперся взглядом в лицо Леза.

– Да, риск громадный. Но есть серьезная подстраховка. Это дело с профессором Гончариком мы ведь давно ведем. И если мы найдем документы по «Черной дыре», тогда можно будет оправдать наше участие в этой игре. Жена Кириллова Амалия, любовница Виталия Лавкунова, внука академика, который два года назад помер. По нашим данным, он подстроил пожар на даче, чтобы похитить документы и где-то прячет их.

– Так прижмите ее!

– Уже...

Х

Академик Альберт Иосифович Рейник и вправду слыл чудачком. Сын пленного австрийского солдата, попавшего в русский плен в первую мировую, оставшегося в России, а затем женившегося на белорусской крестьянке, он еще в 30-е годы двадцатого столетия сумел сменить полученное при крещении имя Альберт-Иосиф на более приемлемое в СССР Альберт Иосифович, в документах писался «из крестьян», что, несомненно, содействовало его поступлению на физико-математический факультет Белорусского университета. Очень быстро обнаружились научные способности студента Рейника, его осведомленность по части достижений физики в западных странах, чему способствовало блестящее знание немецкого языка. Рейник много времени проводил в университетской библиотеке, конспектируя статьи из получавшихся из Германии физических журналов. На последнем году аспирантуры его учитель академик Недоля ходатайствовал о стажировке молодого таланта в Германии, в Институте самого Макса Планка, нобелевского лауреата в области физики, с которым Недоля был дружен с середины 20-х годов.

Стажировка перешла в работу в том же институте, преобразованном после отставки знаменитого немецкого физика в Общество Макса Планка. Но это не значит, что Рейник превратился в невозвращенца. Вопрос был согласован с обеих сторон – германской и советской, что, конечно было исключительным случаем, даже если иметь в виду разнообразие связей сначала Веймарской Республики, а затем Третьего Рейха и Советского Союза. Естественно, что немалую роль в его положительном решении сыграло и желание самого Рейника и, несомненно, была взята во внимание его национальность по отцу. Все-таки в советских верхах учитывали, что Гитлер был австрийцем. Были разговоры о том, что Рейник якобы выполнял вполне определенную разведывательную работу, но надо сразу сказать, что эти предположения остались документально не подтвержденными. Рейник был для компетентных советских органов не-

официальным, но постоянным представителем советской науки в Германии. В самом же германском институте он считался немецким ученым с русским прошлым.

Этот его статус приобрел официальный характер, когда Германия начала войну против Советского Союза. Рейник проработал в одном из институтов Общества Макса Планка всю войну, занимаясь там проблемами термодинамики, а осенью 1945 года вернулся в Минск и стал работать в Академии наук так, как будто он почти пятнадцать лет был в нормальной зарубежной командировке. Знакомые были в недоумении. Несколько крупных ученых, сотрудничавших с немцами во время оккупации Минска, подверглись репрессиям, а с головы Рейника, добровольно работавшего, как говорили тогда, в логове зверя, и волоска не упало. Более того: на первых же послевоенных выборах в Академии его избрали членом-корреспондентом, а спустя три года – академиком.

Слава же чудака стала распространяться о Рейнике с первых послевоенных заседаний ученого совета в Институте физики Академии наук БССР. Рейник выдвигал почти антинаучные идеи и умело отстаивал их. Номера журнала «Доклады АН БССР» с его статьями были нарасхват, а сами публикации постоянно переводились за рубежом. Недоброжелателям из научного мира приходилось терпеть Рейника, чьи исключительные знания и блестящая аргументация заставляли их умолкать. И все-таки скандал разразился, когда в начале семидесятых годов в академическом издательстве вышла книга Рейника «Термодинамическая пара», в которой формулы подтверждали наличие в природе особых, сверхъестественных сил.

Книга сделалась бестселлером, ее невозможно было купить, а «жучки» перепродавали ее из-под полы за сумасшедшие деньги. В партийных органах заговорили о грубых просчетах в идеологической пропаганде среди ученых, о протаскивании в академической среде антинаучных, идеалистических и даже мистических идей. Рейника лишили заведования лабораторией, но он остался в институте на должности ведущего научного сотрудника. Рейник пытался осуществить еще несколько публикаций

в академических журналах, но туда ему путь перекрыли специальные решения редколлегий. Ему удалось два или три раза выступить в нескольких академических и университетских аудиториях, где его с интересом и даже симпатией принимали молодые ученые и студенты, после чего приглашения прекратились.

Словоохотливый и общительный до того Рейник замкнулся, стал неразговорчив. Единственным гостем, которого он принимал и в своей минской квартире и на даче, был сотрудник Института ядерной физики и одновременно профессор Белгосуниверситета Андрей Михайлович Гончарик. Профессор Гончарик давно следил за работой академика Рейника, дотошно изучал его публикации. В особенности те, что опирались на сделанные еще Планком расчеты, касающиеся распределения энергии в спектре абсолютно черного тела и квантового характера энергетических процессов.

Расчеты Рейника подводили к мысли о наличии неких физических сил невиданной энергии. Эти силы могли порождать невероятные пустоты, способные поглощать как отдельные тела, так и гигантские объемы физического пространства. Теоретически возникала возможность искусственного моделирования тех погасших во Вселенной звезд, которые получили название «черных дыр». Именно на эту тему многие часы шли тайные беседы двух ученых.

Однажды Гончарик принес Рейнику свои выкладки.

– Вы беретесь сконструировать искусственную «черную дыру»? – спросил Альберт Иосифович Андрея Михайловича.

– Не берусь, а уже работаю, – последовал ответ. – Кстати, я использую не только ваши работы, но и кое-что из работ покойного академика Лавкунова.

– Лавкунов? – удивился Рейник.

– А вы вспомните, что он был единственным, кто на собрании Отделения физико-математических наук выступил в защиту вашей монографии.

Гончарик раскрыл папку, на которой было написано всего одно слово – «Миниколлайдер».

XI

Высокий, тонкий в талии негр распахнул полы своего красного с желтыми полосами халата, и Евгения увидела грозный яшмовый корень, призывно блестящий мелкими изумрудными вкраплениями. Она подалась ему навстречу, но он не пожелал ее, зато быстро и мастерски расправил ее тело на гладкой черной доске и взял в руку тонкий кожаный хлыст.

– Нет! – закричала Евгения и проснулась. Рядом, на животе, зарывшись лицом в подушку, лежал Он, бугрились мышцы его квадратной спины, мощного выпуклого зада и крепких ног. Сегодня ночью Он буквально истерзал ее. У нее были мужчины, но этот самец ужасен в своей неутомимости и безобразной требовательности.

Она взглянула на часы и поняла, что опаздывает. Сегодня профессор-нейрохирург Григорьев делает сложнейшую операцию, и она должна – это величайший успех! – ассистировать ему. И пациент необычный – известный деятель оппозиции Марченко, доктор технических наук, успевший стать необыкновенно популярным за время своего мэрства в Молодечно. Еще пятидесяти нет, а такой обширный инфаркт, вот до чего политика доводит. Она уже успела подкрасить губы и взялась за сумочку, когда услышала:

– Кажется, сегодня оперируют Марченко?

Он лежал в той же позе, на животе, и только голову повернул в ее сторону.

– Да, шунтирование, нужно спешить, я уже опаздываю, – сказала она, делая шаг к дверям.

– А ты бы не торопилась, – спокойно сказал Правитель, – по-моему, с этим все ясно.

– С чем ясно? – не поняла она.

– С этим деятелем! – он рывком подбросил свое сбитое из жестких мышц тело и уселся на краю кровати, свесив ноги.

Уже в машине, искоса поглядывая на Стаса, водителя из его личной охраны, она раздумывала над его словами. Почему он так бессердечен? Она далека от политики, но Марченко был ее симпатичен. Высокий, несколько грузно-

ватый, он тем не менее был по-своему обаятелен – какой-то своей беспомощностью и невымученной галантностью одновременно. Чувствовалось, что человек понял что-то важное в жизни и хочет не расплескать это знание и даже поделиться с другими. На нескольких правительственных приемах, еще до прихода к власти Правителя, она встречалась с ним, разговаривала, и уже тогда почувствовала его обаяние. Одно время ей казалось, что ее даже тянет к Марченко. Но когда она попала под мощный гипнотизм власти Правителя, уже никого не замечала. Это не была любовь, это был именно гипноз мощной воли и силы, исходивший от него. Гипноз, против которого она была бессильна.

Впрочем, нет, не было гипноза. Просто каждую ночь он рассказывал ей об оргиях в шкловском дворце Зорича. Она и не предполагала, что он столько знает. «Этот Зорич, у него была фантазия почище римских цезарей, описанных Светонием», – захлебывался он и тут же спрашивал, читала ли она Светония. Оказывается, Зорич мог взять за ночь двадцать девушек. На главной аллее парка по обе стороны стояли стройные обнаженные юноши с факелами в руках. Это была дорога юных дев, которых – каждую на носилках – несли также обнаженные молодые литовские боги с вздыбленными фаллосами. Зорич брал трепещущие девичьи тела на специальном троне, осыпавшем во время акта лепестками роз. Единственным охранником, стоявшим у трона, был почему-то явившийся совсем из других времен Гришка Отрепьев-Лжедмитрий, нацепивший на голову нечто среднее между короной польского короля и фуражкой белорусского генералиссимуса. Только у него было право снять последнее с беловолосых юных униаток, которые кричали тонкими белорусскими голосами. Двух минут хватало Зоричу, чтобы перейти к следующей. А на оставленную набрасывались молодые боги, буквально иссекая ее своими гордо восставшими изумрудными пальмами и заливая белоснежными потоками горячей лавы.

Зорич кричал какие-то сербские слова, которые он запомнил будучи еще мальчиком Неранчицем и которые приводили в особое возбуждение стареющую российскую императрицу, пропустившую через свою постель великое

множество юных офицеров с узкими бедрами и широкой грудью, куколок, как она, млея от похоти, называла их. Отрепьев-Лжедмитрий отвечал ему на древнебелорусском, утверждая, что сцена в монастыре у Пушкина насквозь фальшивая и что корчма на литовской границе никогда ему не принадлежала.

... Взгляд фаворита остановился на Евгении. Она была уже готова, распустила волосы и даже запела венчальную белорусскую песню, потому что ей сказали, что он любит протяжные и печальные белорусские песни. Но Зорич оборвал ее и сказал, что нынче она должна услужить очень важному человеку, приехавшему из Петербурга, сенатору Державину. Высокий полный старик с баками, как неожиданно выяснилось, имел стальной жезл, которым буквально проткнул ее, напевая при этом: «Вечор мне красные девичы мешок пшеницы принесли...» И дальше он пел про то, как без устали молот и молот эту самую пшеницу. Евгения начала раздумывать над тем, что наверняка сенатору продал какое-то специальное любовное снадобье шкловский аптекарь Фишман. Но вот открылся балет под руководством самого Риццони, итальянца, привезенного из Рима. Пастушки, и фавны под руководством владельца соседних Горок, старого сластолюбца князя Нарышкина начали совокупляться в строго отрепетированных позах, нарушение которых каралось розгами здесь же, на месте. Пучки розг, мокнувшие в больших китайских кувшинах из тонкого фарфора, были обвиты шелковыми лентами, развевавшимися при каждом ударе. При этом фаворит не желал следов на телах юных дев, оттого искусство стегавших их смуглых мальчиков-нубийцев, действовавших строго по команде Отрепьева-Лжедмитрия, должно было быть особенным. Нарушивший запрет обязан был смазать кровавый след тонким слоем собственной спермы, орудия при этом языком.

В финале балета на сцену являлись Зорич вместе со стоявшим несколько поодаль и всегда готовым к услужению Отрепьевым-Лжедмитрием. Они раскланивались, благословляемые митрополитом. Белорусская оппозиция орала восторженно в ложах и швыряла на сцену золотые

кольца, перстни и бело-красно-белые листки с надписями «Жыве Беларусь!».

Все завершало дефиле молодых богов и шатающихся, вконец обессилевших, украшенных венками из ромашек и васильков беловолосых униатских дев, которое возглавляли оппозиционеры Клитко и Бондарь, закованные в кожу с металлическими заклепками, в касках и на мотоциклах «Харлей Дэвидсон».

Дикий крик покрывал окрестные поля и леса:

– Идущие на смерть приветствуют тебя!

Евгения была зачарована этой картиной и готова была созерцать ее бесконечно, но необходимость помогать хирургу отвлекала ее.

– Вы ведь знаете, что он должен умереть? – услышала она, наконец.

Умереть? Но почему? – она спрашивала, зная ответ.

Марченко должен, обязан умереть. Таков сценарий, данный свыше.

– Все делается согласно Высшей Воле. Дается жизнь и она же отнимается. Вы знаете это.

Хирург был раздражен и уже шел размываться.

– Он будет жить? – бросилась она к нему.

– Конечно, – удивился он, – он будет жить вечно. В памяти и легендах своего народа. Как положено. Кстати, похороны организует Администрация. Это большая честь. Поздравляю вас.

– Меня за что? – изумилась Евгения.

Зорич не дал ей ни секунды на раздумья, он волок ее к своему игравшему фантастическим разноцветьем трону, на котором совершенно обессилевший, на спине, разбросав по сторонам толстые волосатые ноги-столбы и не выпуская из рук дорожную канадскую клюшку, лежал как будто Он. С минуту она колебалась. Но это был не Он, а тот, другой, принявший его личину, – Гришка Отрепьев! Лжедмитрий! Евгения ужаснулась. То, что представлялось общенациональной гордостью, превратилось в нечто крохотное, какой-то мышинный хвостик, еле различимый в жестких

зарослях. И даже гигантские шары, всегда переполненные картофельной силой *Его* народа и лихо лупившие по ее заду, сейчас усохли до жалких серых лепестков.

– Не так ложишься, мой Али, – процитировал Зорич Гумилева и толчком перевернул Гришку на живот.

«Сейчас он сделает это, и великий человек превратится в обыкновенного петуха», – с тайной злобой подумала Евгения.

Шкловский фаворит приступил к делу с полной уверенностью в своем искусстве. Его кривой ятаган погружался с равномерностью метронома. А Отрепьев-Лжедмитрий сопел и урчал, его редкие, слипшиеся в поту волосики на почти голом черепе свились в мокрую прядку, усы обвисли. Бело-красно-белые сполохи и старинные свитки Третьей Уставной Грамоты, свисавшие со стен, освящали происходившее таинство. «Ах эти поляки! – изумлялся мысленно Отрепьев-Лжедмитрий. – Они совсем не просты. И, может быть, не следует быть столь строгим к ним. Ведь это наши поляки!»

Покои наполнились звериным воем. Близилось появление нового властителя. Но когда он восстал, Евгения поразила его сила и мощи. Это был сам новгородский князь Владимир Святославич, а она была полоцкой княжной Рогнедой. И сейчас он, убивший ее отца, князя Роговолода, мать и двух братьев, овладеет ею, этот проклятый насильник, впоследствии почему-то прозванный Красное Солнышко и вызывавший у детей, листавших школьный учебник истории, представление о добром и мудром правителе. Но, может быть, она сама уступила ему? Сначала отвергла сватов, а когда он явился самолично, грозный и неустрашимый, сверкая доспехами, меж которых ее поразил чуть раздвоенный на конце и украшенный обсидиановыми зернами стальной фаллос, она была покорна и нежна, как и положено юной княжне. И торопя миг последних содроганий, упрямо твердила: «Ты, озлобясь за одно мое слово, отца моего убил, землею его овладел, меня, яко пленницу, в жены взял».

Что это было за слово? Она не хотела разуть *рабычица*, сына ключницы-рабыни Малки. Но Владимир переполнит

ее накопившейся в походе, забродившей горячей и мутной военной влагой, и ее последний крик будет криком почти счастья. Потом родится несчастный Изяслав, будущий князь полоцкий, на которого возлагалось столько надежд. «Бысть же сий князь тих и кроток, и смирен, и милостив, и любя зело и почитая священный чин иноческий, и прилежаще прочитанию божественных писаний, и отвращаяся от суетных глумлений, и слезен, и умилен и долготерпелив». И она, уже не Рогнеда, а Горислава будет долгие годы чахнуть в башне Заславльского замка и вынашивать план мщения.

Боже мой, думала с отчаянием Евгения, разве она не просила, не умоляла Правителя сделать их общего Ванечку своим законным сыном? Но он упрямо держался той, сидевшей в деревенской глуши грузной тетки с ее коровой, козами и свиньями. Брак был священен в маленькой, но грозной, оцетинившейся со всех сторон стране, которую он создал и считал своей собственностью. И два крутозадых и лупоглазых бугайка, нажитые им с этой теткой, были ему ближе их общего сыночка. Она знает, что он считает Ванечку байструком. Байстручество, как символ, как грозное знамение, сопровождает его самого всю жизнь, напоминая о тайной неполноценности рода. Какой-то цыган или какой-то еврей... Цыганство может быть поводом для недостойных шуток и намеков. А еврейство – это вообще страшно. Это клеймо, хотя и очень ценное по своей сути – богоизбранность! – но все-таки с ним в народ лучше не выходить. И потому Евгения знает, что Ванечка, ненаглядный, дорогой, только ее дитя. Но она еще поговорит с ним. Он как всегда будет что-то обещать ей... Но она не жалкая Рогнеда-Горислава, она не поверит ему.

XII

Небольшая группа людей в широких шляпах, с суковатыми палками в руках и с заплечными рюкзаками осторожно пробиралась гуськом по узкой прибрежной тропе,

над которой нависал высокий обрыв, с трудом державший сильно обнажившиеся в выветренной почве корни опасно наклонившихся сосен. Это были участники Национально Осознанной Экскурсии (НОЭ) по историческим местам Батьковщины. Во главе шел Дементий Горобец, сорока-летний белорусский мыслитель с благородно-чеканными, шляхетскими чертами лица, в ранней юности отрекшийся от своего отца, полковника КГБ. За ним двигалась его подруга, плотная, крепко сбитая поэтка Зоська Ледачка, след в след за ней по-журавлиному ступал длинными худыми ногами редактор газеты «Наша бяда» Микола Субойка, замыкали процессию жена Субойки, тоже поэтка, красавица с косою Людка Станкевичанка, и критик и по совместительству шахматный обозреватель «Нашай бяды» Вольф Маргулиес, носивший на остроносом лице несменяемую маску ядовитого доброжелательства.

У этих экспедиций (выправ) была давняя традиция, тянувшаяся еще со времен Франтишка Богушевича, когда белорусские народолюбцы, отправляясь за город, надевали широкополые гарибальдийские, считавшиеся социалистическими шляпы и опирались на толстые, грубо вырезанные из орешника палки. Сегодняшние патриоты были одеты с естественным национальным акцентом в сочетании с некоторой прозападной ориентацией. Горобец и Субойка были в вышиванках и одинаковых вытертых ливайсовских джинсах, на ногах имели сильно потрепанные кеды. Вернувшийся недавно из Израйля бородатый и волосатый Маргулиес был в желтой майке, на которой mogenдовид пересекался с надписью «Жыве Беларусь!», шортах и грубых армейских ботинках, подаренных ему служившим в израильской армии двоюродным братом. Дамы напоминали девушек из фольклорного ансамбля – белоснежные кофточки с пересекавшей грудь «Погоней», длинные темные юбки и красные кеды.

Когда экскурсанты повстречались Гейму во время утренней прогулки и попросили указать им хорошее место для лагеря, он с удовольствием знатока окрестностей рассказал, как пройти к возвышенности над озером, где обыкновенно любят останавливаться туристы. Оттуда от-

кrywался великолепный вид на водную гладь, да и само место было обжитое – с благоустроенным кострищем, окруженным толстыми стволами давно поваленных и обтесанных сосен.

Как давний участник литературного быта (или процесса), Гейм знал и всех участников экскурсии, хотя между ними и была приличная разница в возрасте. Эти литераторы, в отличие от Гейма, принадлежавшего к последней, самой молодой волне шестидесятников, можно сказать, юными начинали в перестройку в молодежных объединениях вроде «Талакі», а в начальные годы белорусской суверенности выдвинулись в первые ряды, стали пропагандистами и защитниками всего, что обозначалось понятием *беларушчыны* (белорусскости). Гейм симпатизировал им, потому что его симпатию всегда вызывали униженные и оскорбленные, такова была традиция русской интеллигенции, которую он усвоил с младых ногтей. Но уже в годы перестройки он почувствовал опасность смены коммунистической идеологии на националистическую и стал выступать против антирусской и антироссийской тенденции, которую усиленно и в разных вариантах разрабатывали белорусские националисты. После появления статьи Мазяка, в которой выражалось удивление по поводу того, что все нацменьшинства в Беларуси уже объединились в национальные товарищества, а вот русские почему-то не спешат с таким объединением, Гейм выступил с ответной публикацией, называвшейся «Иван в косоворотке», где высмеял эту идею заставить русских, живущих в Беларуси, петь под гармошку «Есть на Волге утес» и плясать «Камаринскую». Но Мазяк пошел дальше: не только всю русскую литературу назвал пропитанной азиатчиной и презрением к другим народам, но и вообще приписал русским генетически врожденную склонность к насилию, хамству, алкоголизму и проч. И Гейм ударил из всех стволов по новоявленному расисту.

В те дни ему позвонил Быков. Гейм запомнил этот разговор до мелочей.

- Виктор, – сказал Быков, – ты останешься в одиночестве.
- Разве это не позиция достойная нормального интел-

лигентного человека – быть в одиночестве? – запальчиво спросил Гейм.

И не ожидая ответа горячо заговорил о том, что это не Гейму, скромному литератору, следовало вступить за честь русских и русской литературы, а прежде всего ему, Быкову, вышедшему на европейские и даже мировые просторы благодаря Твардовскому и «Новому миру».

Наступила долгая пауза. Гейм слышал в трубке прерывистое дыхание Быкова. И, наконец, его слова:

– Не время.

По-белорусски это звучало более выразительно:

– Не ў час.

И тогда Гейм сказал то, о чем потом сожалел:

– Вы говорите что-то похожее на то, что сказал в свое время Суслов Гроссману по поводу романа «Жизнь и судьба»: «Может быть, ваше сочинение и можно будет издать лет через двести».

Быков положил трубку, и Гейму стало страшно. Он действительно почувствовал полное одиночество.

Несколько лет Быков не звонил ему. Но после прихода к власти Правителя Гейм снова оказался на острие атаки. Его фельетонами публика буквально зачитывалась, многие читатели «Свободы» и «Народного голоса» хранили у себя вырезки. И Быков снова стал звонить ему. В своей характерной сдержанной манере он хвалил его острые публикации, и Гейм знал, как дорого стоят эти скупые похвалы. Но ему казалось, что он чувствует за этими добрыми словами и нечто большее: признание его, Геймовой, правоты в критике «апостола белорусской нации», как назвал Быков однажды Мазяка. Это тешило самолюбие. И только в последний год жизни Быкова Гейм прочел в его воспоминаниях определенную разочарованность в личности Мазяка, впрочем, как и в целом в понимании белорусским народом своих целей и возможностей. Быков был большим пессимистом.

Экскурсанты пригласили Гейма на вячэру (ужин), планировался кулеш с тушенкой. Гейм ответил вяло-неопределенно, но знал, что придет и вечером таки приплется задыхаясь, поскольку подъем на высокий обрыв, служивший местом постоянного туристского бивака, был для него

несколько обременителен. Он вынул из кармана бутылку «Столичной» и поймал неодобрительный взгляд Горобца.

– Что, сердечники употребляют?

– Пятьдесят граммов даже кардиологи рекомендуют, помогает в борьбе с атеросклерозом. Никаких вин и прочих коньяков, только водка, – бодренько ответил Гейм, откупоривая бутылку и наливая в расставленные Людкой стаканчики.

– За что пьем? – спросил Субойка, подозрительно разглядывая свой.

– За хороший вечер, – сказал Гейм.

Разговор не клеился, пока Горобец, словно давая сигнал, лениво промолвил, накладывая себе в тарелку наваристый кулеш:

– Ну вот, вы все-таки пришли к нам, Виктор Владимирович?

– Если вы имеете в виду эти прекрасные места, то скорее вы пришли ко мне.

Гейм знал: сейчас начнется знакомая и давно осточертевшая словесная круговерть. Но для Горобца это был ритуальный танец, и он пошел вокруг костра, не то напевая, не то наговаривая и одновременно помешивая ложкой:

– Вы прекрасно знаете, Виктор Владимирович, что у нас отнято все: национальное самосознание, история, язык, память. Можно сказать: такова судьба многих народов, прошедших по этой земле. Как говорится, ничего удивительного: исчезают языки, народы, нации. Таковы законы глобализации-ассимиляции. Триста с лишним лет нас пытаются превратить в труху российские и польские жернова, между которыми мы помещены. Но мы еще живы, мы сопротивляемся этой энтропии. И это великое чудо.

Гейм лениво припоминал знакомые и затертые контраргументы. А чем вы лучше прусов, от которых и следа не осталось? И еще сотен исчезнувших народов... Кстати, как это близко фонетически – прусы-белорусы. Что же касается места, определенного Богом для белорусов, то возможно для них лучше было бы разместиться где-нибудь на Шпицбергене или мысе Доброй Надежды, где нет ни российских, ни польских жерновов. Была бы нормальная

племенная жизнь, вожди, жены, язык, песни – все свое. Хотя эта плоская шутка даже не годится для того, чтобы подразнить националистов у себя дома. А за границей, в Польше или России, Гейм становился ярким защитником белорусской самобытности. Впрочем, поляки со времени развала Союза демонстрируют всяческую солидарность с идеей белорусской независимости. В независимой Беларуси видят они, возможно, и некий гарант безопасности Польши от имперских поползновений России, которые для них вечны. «Rosja jeszcze wszystkich nas zabierze», – услышал как-то Гейм от одного старого поляка, сидевшего и при Сталине и при Гомулке. И он еще раз понял, что этот страх перед Россией, возвращенный столетиями, пройдет не скоро. Они не верят в свою свободу и втайне считают, что Россия еще заберет их под свою власть.

Поэтому нужно подкармливать белорусскую оппозицию. Конечно, поляки и сейчас, поддерживая белорусскую суверенность, не отказываются от того, чтобы прижимать белорусов, белорусскую общину на Белосточчине, видя в ней некую угрозу для польского национального единства. Время от времени вспыхивают скандалы с финансированием местной белорусской периодики, той же белостокской «Нівы», но, в общем, это были события мелкого масштаба. И они только подтверждали, что поляки все-таки видели некую белорусскую особость, непохожесть, которая их тайно, со времен Пилсудского в особенности, раздражала как очевидное проявление нежелания ополячиваться. Гейм был уверен: попади белорусы целиком под власть Второй Речи Посполитой и продлись история этой самой Речи без нападения Гитлера, от них не осталось бы и следа. Поляки с их католическим горением и нетерпимостью быстро сделали ли бы свое польское дело. Это парадокс: но белорусы взрастили и сохранили себя именно в условиях БССР, в составе Советского Союза. Да, конечно, многое было утрачено, еще больше изолгано, но народ сохранился и язык какой-то. И литература получила развитие... А вот русские... Как-то Гейма за рюмкой похлопал по плечу давний московский приятель:

– Слушай, ну какая там белорусы нация? Бред какой-то.

Это же самые настоящие русские. Я же бывал у вас, знаю... Ну, конечно, есть какие-то свои слова, традиции, обряды, песни, наконец. Но это же не повод, чтобы сочинять нацию? У нас, в России, жители Вологодчины тоже сильно отличаются от казаков на Дону или Кубани, но все они считают себя русскими. И белорусы ваши тоже этническая ветвь общего нашего русского племени. Есть великороссы, малороссы и белорусы...

Гейм тогда закатил настоящий скандал, а когда успокоился, прочитал целую лекцию по истории Беларуси, которую закончил напоминанием, что даже Даль в своих поисках для словаря южнее Псковской губернии не заходил, потому что понимал, что здесь *другое*. Приятель смутился, сказал, что многого не знал, но видно было, что Гейм его не переубедил, и он остался при своем. Но и Гейма эта победа не удовлетворила, потому что был в ней отчасти привкус собственного неверия. Или напротив – подтачивало собственное знание, родившееся из начитанности о давнем споре, в котором столкнулись деятели «западноруссизма» во главе с Кояловичем с апологетами белорусской национальной идеи.

И разве не сам великий белорусский историк Карский писал о белорусах как «ответвлении русского народа», а о белорусском языке, что он представляет собой «западнорусскую ветвь русского народа»? Не он ли, этот автор многотомного труда о белорусах, лежащего в основе белорусской историографии, считал, что обучение белорусскому языку не должно идти далее начальной школы, а среднее и высшее образование, наука могут обеспечиваться исключительно через «общерусский язык»? И разве не гениальный поэт Максим Богданович, этот белорусский Лермонтов, погибший в борьбе с чахоткой двадцати пяти лет от роду, утверждал, что русская культура является «мощным фактором, сплачивающим разнородные племена Российской империи»? «Ее печать, – писал он далее, – лежит на духовном творчестве любого народа России, она является для общей почвой, сближая содержание их культур, их идейных и литературных течений».

А сколько лжи накручено в белорусско-русской проблематике! Вот недавно кто-то вбросил, что Екатерина II

была лично настроена против белорусов. Что якобы после разделов Польши она издала указ, в котором говорилось, что *«замирить Белую Русь силой невозможно»*, а потому *«эту миссию мы возложим на русского чиновника, русского учителя, русского попа. Именно они отнимут у белорусов не только их язык, но и саму память про самих себя»*. Но нет такого указа! Не зафиксирован он ни в одном из собраний документов екатерининского времени. И никаких белорусов для императрицы, державу которой населяли двенадцать народов, не существовало, ибо их не было тогда. Были католики, державшие сторону Речи Посполитой, и угнетаемое ею православное население. А сама стилистика этого «указа» – «миссия», «возложим», «отнимут у белорусов не только их язык» – с головой выдает современного национал-фальсификатора. Это не язык и стиль имперского указа конца восемнадцатого века.

Но, собственно, что ему за дело до этих фальсификаций? Боже мой, сколько раз он внушал себе, что *это не его проблемы*. Но сам дух истории Западной России, Белой Руси, Литвы, Великого княжества Литовского, сама эта жесточайшая и колоритнейшая каша из православия, католичества, униатства, из потомков кривичей и радимичей, из поляков и ополяченных и обрусевших белорусов, украинцев, евреев, татар, белорусских националистов, поклонников гауляйтера Кубе, и вообще все это сплетение из трудов Киркора, Кояловича, Довнар-Запольского, Цвикевича, Карского, Ермаловича почему-то манило и притягивало его долгие годы, десятилетия.

– Я давно хотел вас спросить, Виктор Владимирович, – упер в него свой немигающий холодный взгляд Горобец, – скажите: какие для вас существуют национальные святыни?

«Вот суки, – с тоской подумал Гейм. – Они что, ждут, что я назову им Скорину, Евфросинью Полоцкую или, может быть, подаренную им Россией гениальную Арсеньеву, родственницу Лермонтова и жену гитлеровского прихлебателя Кушеля? А, может, рассчитывают на традиционнорусское – Пушкин-Гоголь-Толстой-Достоевский?»

Впрочем, в русской литературе для него была одна святыня – Бунин. Любовь к Ивану Алексеевичу была со-

вершенно предметной, осязаемой. Он понимал, что если бы очутился в дни бунинского умирания на улице Жака Оффенбаха, то спокойно, без тени брезгливости выносил бы ночные горшки. Бунин знал себе цену – стар, сед, сух, но еще ядовит. Этот яд был его художественным зрением, чутьем, которое распознавало безошибочно самые тонкие черты любимейшего русского портрета, писавшегося им на протяжении всей жизни.

– Да нет у меня никаких особенных святынь, – равнодушно ответил он. Хотя это было неправдой. Или точнее – не полной правдой. Он знал, что не сможет убить, украсть, предать. Но знание это не укрепляло, а почему-то расслабляло. Может, потому, что отдавало извечной интеллигентской пошлостью, словоблудием.

– Ну вот! – почти радостно спохватился Субойка. – Вы космополит, Виктор Владимирович, так сказать, человек Вселенной, а мы, грешные, плачем о своем, земном.

– Не юродствуйте, – буркнул Гейм.

– О каком юродстве вы говорите? – неожиданно озлился Горобец. – У нас отнято даже собственное имя. Вы прекрасно знаете, что подлинное название нашего народа вовсе не белорусы. Мы – литвины, и Беларусь – это слово, заменившее настоящее название нашей земли – Литва. А нынешние литовцы, ежели именовать их правильно, в соответствии с их языком, это – летувисы и земля их – Летува, они и сами ее сейчас так называют. А если не забывать об исторической традиции, то это жмудины и земля их Жмудь или Жамойтия. Ну еще Аукштота...

– А белорусами или белорусцами нас москали назвали. Это имя, данное нам чужими, не наше собственное. Наше – украдено! – выкрикнул Субойка.

– Кем? – спросил Гейм. – У вас есть претензии к истории? К тому, что она пошла не тем путем?

– Историю делают люди. И мы изменим этот ход Истории! – рубанул воздух рукой Субойка. – И если вы подлинный гуманист и демократ, то должны помочь нам в этом святом деле!

Да в чем же он должен был им помочь? В их поисках родины, своей идентичности, родного очага? Их не

устраивает название страны – Беларусь, потому что в нем корневая «Русь» утверждает сродство с Россией, от которой они хотят быть как можно дальше. Отсюда и белорусская национальная неполноценность, мол. От неудачного имени страны. Но ведь было время, когда предков нынешних белорусов называли русскими, *руськими*, а сами русские были только москвитями. Была литовская Русь. Страдая и мучаясь, они перебирают варианты. Литва украдена. Так, может быть, языческая Кривия – от древних кривичей? Но вряд ли большинство сегодняшних граждан Беларуси согласится жить в некоей Кривой стране, хотя литовцы до сих пор зовут белорусов *гудас* и *балткривас*, напоминая об их истинных корнях, о том самом балтском субстрате, с которым в сфере исторической науки вела упорную борьбу советская идеология и который отрицает и нынешний режим. Сам Горобец предложил – Республика Радзима. Это уже от радимичей, некоторый крен в сторону Гомельщины. Тоже язычеством пахнет. Но звучит действительно красиво. А ведь врут они, что с конца 18-го века, после разделов Польши и присоединения западных земель к Российской империи, их жителей стали называть белорусами. Так сказать, из колониальных побуждений. Кажется, еще в документах Ивана Грозного говорится о белорусах. Националисты тянут Беларусь в сторону Запада, беспрерывно напоминая о Великом княжестве Литовском, о совместном существовании в Речи Посполитой (*Rzeczpospolita Obojga Narodów*), когда литвины были рыцарственным народом. Потому и турниры в шлемах и со старинными мечами устраивают. Привычный, созданный Купалой образ пана сохи и косы должен уступить место образу гордого рыцаря, который запечатлен на Погоне. Но сохранилась ли в народе глубинная память об этих временах? Или Российская империя выкорчевала эту память без остатка, утвердив здесь навсегда свой евроазиатский синдром, утверждающий идею авторитарного правления как самую естественную и для России и для Беларуси?

– Как приверженец идеалов русской демократии, вы не можете, Виктор Владимирович, не помочь нам, – уныло твердил Субойка. – Это ведь традиция.

Но вот демократ ли он? Когда-то, в пору перестроечных баталий, директор Института литературы, академик Виктор Антонович Коваленко сказал в одной из своих статей, что хотя Гейм и далек от подлинно белорусских национальных задач, но все-таки он демократ, и это не подлежит сомнению. Потом прошли годы, и проделавший в дикую жару два километра от автобусной остановки до своей академической дачи, полный, страдающий сердцем Виктор Антонович вошел в воды Дубровенского озера, как раз напротив своего дома, и поплыл в вечность, спокойно раскачиваясь на волнах, раскинув руки и опустив лицо в донные глубины. Вместе с ним плыли его литературно-критические книги «Давер» и «Голас чалавечнасці», роман «Падвышанае неба». И уже нельзя было спросить, насколько крепка его вера в демократизм Гейма и кто все-таки был инициатором Геймова увольнения из института. И соседа его по дачному дому, Алесь Адамовича, тоже не спросишь, как, мол, там в Москве, какая жизнь... Да и что бы мог ответить сегодня Алесь Михайлович, белорусский любимец московской демократической публики? Прошло его время громких публицистических статей, борьбы с атомной бомбой, страстных перестроечных выступлений. Пришла пора других карателей, которых он не успел описать. Сотни новых Тупиг размахивают дубинками на площадях городов Беларуси, и некому привлечь их к суду и следствию. И сам Алесь Михайлович упал на пол в Верховном суде России, где рассматривалось дело о писательских дачах в Переделкино. Он пророчил себе такую смерть, только не в суде, а в номере какой-нибудь гостиницы, в полном одиночестве и беспомощности. Гейм сам слышал от него это пророчество. А жить хотел Алесь Михайлович неистово, и ездить по миру, и выступать, и славы хотел большей, чем имел. И уже не верил он просто в литературное дело и потому призывал делать сверхлитературу. И сам пытался ее творить.

Его ученицу, будущую Нобелевскую лауреатку, Марьяну Краснову, далеко обскакавшую учителя в литературе non-fiction, Гейм встретил как-то летом в Париже. Они условились о встрече в кафе, Марьяна сказала, что отпустила

свою переводчицу, и у них могут быть проблемы с заказом обеда. Гейма неприятно кольнуло: живет уже два года в Париже и не удосужилась выучить два десятка слов. Она пришла в нелепо-коротковатых брючках, подчеркивавших отсутствие фигуры, вся простая в меру и демократичная. Гейм сделал заказ, удивив ее своим нахальным французским. На следующий день он со страшной неохотой, заранее жалея о потерянном вечере, отправился в Центр Помпиду на ее встречу с читателями. Сидя на сцене небольшого уютного зала, в котором было человек пятьдесят, в основном, молодые, Марьяна уверенно сыпала «дискурсом» и «контаминацией» вместе с цитатами из Достоевского, Ницше и Кафки в подтверждение единственного тезиса о том, что все умерло и будущее только за литературой документа. Перевод не менее умных речей какого-то литературоведа и журналистки, ведущей программу, был ужасен. Гейма хватило всего на пятнадцать минут, и хотя подниматься в третьем ряду, буквально на глазах у героини вечера, было неприлично, он вышел из зала.

Марьяна была неплохой журналисткой, верила в добрые социалистические идеалы, ее привлекали такие рыцари революции как Феликс Дзержинский, о белорусском родовом имении которого она написала восторженный репортаж. А потом она сделала множество записей рассказов женщин-участниц войны с Гитлером. Эта книга не могла не тронуть читательские сердца. И тут Марьяна поняла, что вышла на свою тропу, золотую жилу. Она стала записывать разговоры с воевавшими в Афганистане советскими солдатами, с людьми, пережившими Чернобыльскую катастрофу. Книги широко издавались, переводились на разные языки. К Марьяне тепло отнеслась западная литературная критика. Вообще на Западе она сделалась своего рода толкователем души советского человека. Записывала она рассказы людей несчастных, сломанных, страдающих, и гуманный западный читатель проникся к ним состраданием, а главное, он, наконец, понял, в чем причина несчастий советских людей. Марьяна ясно объяснила: советский человек – это закомплексованный «красный человек», который никак не может избавиться от этой

«красноты», своей глубинной советскости, и в этом вся суть его трагедии. Таким образом она сумела выжать своими записями рассказов несчастных советских людей («красного человека») все, что можно из сентиментального западного читателя. На Западе это объяснение Марьяны сути «советской трагедии» страшно понравилось, и она стала там очень популярна. Марьянина философия насчет «красного человека» удачно совпала с крушением Советского Союза. Марьяна в результате сделалась критиком «совка» и всего «совкового». И очень быстро перешла к критическим высказываниям в адрес путинской империи. А это уже был прямой путь к Нобелевской премии.

Белорусские националисты были в ужасе от одной мысли, что Нобелевскую премию может получить пишущая на русском языке Краснова, считающая себя воспитанницей великой русской литературы. Они видели в этом мощный подрыв белорусского национального дела, поскольку в роли претендентки на нобелевку, представлявшей как будто Беларусь, выступала русскоязычная авторша, хотя и критикующая Россию, но чье творчество несомненно является частью русской литературы. Горобец писал, что ее Нобелевская премия может стать «последним гвоздем в гроб белорусского языка». Сам факт присуждения премии поначалу буквально потряс националистов. Но они быстро опамятались, курс был взят на белорусизацию Красновой, чему в сильнейшей степени должен был содействовать перевод пятитомника ее произведений на белорусский язык, в котором самое непосредственное участие приняли недавние горячие критики ее личности и творчества. Участие в переводе стало и неплохим заработком, оплаченным одним из белорусских банков. Усилия белорусизаторов Красновой хотя и дали некоторые плоды, но она продолжала время от времени огорчать носителей белорусского патриотического сознания признаниями в том, что воспитана великой русской литературой и многим обязана ей. Но перевешивало то, что Марьяна критиковала присоединение Россией Крыма и поддерживала киевский майдан. И лидерам белорусских националистов пришлось сми-

риться и быстро прекратить свои стенания. Они перешли к белорусизации Красновой, поскольку поняли, что второго Нобеля белорусам не видать.

А ведь по справедливости белорусским нобелевским лауреатом должен был стать Василь Быков. В конце 90-х Гейму в Варшаву позвонил руководитель Белорусского ПЕН-центра Карлос Шерман и попросил поговорить с Чеславом Милошем насчет его рекомендации Быкова на нобелевку. С Милошем Павла познакомил Анджей Дравич, известный польский литературный критик и диссидент. Они встречались несколько раз в Варшаве и в Кракове. Гейм поехал в Краков, где жил Милош. Знаменитый поэт не только пообещал отправить соответствующее письмо в Нобелевский комитет, но и предложил хлопотать, чтобы такое же письмо с поддержкой Быкова написала в Шведскую академию свежеиспеченная лауреатка Нобеля Вислава Шимборская, также жившая в Кракове.

Пан Чеслав подошел к окну, взглянул на желтеющую листву деревьев во дворе и вздохнул.

– Мы свое дело сделаем. Быков, безусловно, достоин Нобелевской премии. Но понимаете, в чем дело. Нужна большая кампания в поддержку Быкова в Европе, в Америке... Необходимо большое число переводов, рецензий, интервью. И, конечно, выступления за рубежом, встречи с читателями. Меня, например, очень поддержала Польша – зарубежные общины поляков. Они проделали очень большую работу.

И Гейм сразу понял, что с нобелевкой для Быкова не выгорит. Скромнейший Быков не умел делать такие дела, как собственное паблисити. Да и оратор он был неважный. Больше молчал. В этом плане Краснова опережала его на сотни очков.

Так оно и вышло. Для Быкова началась не нобелевская эпопея, а эмигрантская одиссея. Пен-клубовские квартиры в Финляндии, Германии. Однажды он позвонил Гейму из какого-то немецкого городка. Усталый, больной, он жаловался на бытовую неустроенность, отсутствие поблизости необходимых врачей и медицинской помощи. Сказал, что Вацлав Гавел зовет в Прагу, обещает поддержку. В Праге

вокруг него устроили суету сотрудники белорусской редакции Радио Свобода. Он был уже тяжело болен и уехал умирать и попрощаться с друзьями в Минск. Его похороны стали невиданной до того в Беларуси общественной демонстрацией. Белорусы знали, кого они потеряли. Не только великого национального писателя, но своего защитника, свою последнюю духовную опору.

А вот Адамович, наверное, был бы рад успеху Красновой, этой победе документальной литературы. Но видел ли он исток всех бед страны в «красном человеке»? У него была своя цель в жизни. Он хотел заповедать безъядерному миру новую мудрость человеческого сосуществования. И после инфаркта спешил особенно. В его московской квартире на полках остались сотни книг с записочками – его соображения, замечания, пожелания. Его мысли. Его завещание человечеству, раздробленное, несобранное. Он сказал «Прожито!» в последней книге, но до последнего дня не верил, что жизнь кончена. Националы не доверяли ему, их смущали и раздражали его московские связи, его, как, впрочем, и Быкова, вовлеченность в российскую культуру. Но после смерти националы внесли его в свой пантеон и оправдали. Сам Горобец, верховный жрец Национального олимпа, совершил очистительный обряд в предисловии к посмертной книге Адамовича «Dixi». А Быков стал своим для них несколько раньше, но тоже не сразу. Его лейтенанты из ранних повестей, а потом и Сотников, были чужды им, потому что советское преобладало в них над национальным. И только со «Знака беды», с Петрока и Степаниды, этих белорусских Филемона и Бавкиды, для них начался близкий им Быков. Они похоронили его, покрыв гроб бело-красно-белым полотнищем, испугавшим высокопоставленную похоронную команду от Правительства, спешно покинувшую Дом литератора.

...Стемнело. От озера потянуло прохладой. Вольф Маргулиес уже утянул Зоську Ледачку в палатку и там, обминая ее крепкую, как молодая капуста, потную грудь, чувствуя неудобство от множества жестких джинсовых одежд, из-

бавлял от них себя и ее и одновременно читал ей стихи
Купалы о всебелорусских жидях:

Ваш флаг и факел наш да будут жить,
Хоть рок грозит, что нас в могилу спустит,
Хоть меч дамоклов в воздухе висит!

В тот момент, когда его доставшееся по великому бобруйскому наследству жилистое обрезанное оружие выстрелило в разлапистую и податливую картофельную ботву Ледачки древним семенем иудейских скотоводов, Вольф удовлетворенно подумал о том, что именно союз тарашкевицы и иврита может придать новый импульс уга-сающей белорусской ментальности. Он пытался научить белорусов мыслить, предлагал им на страницах «Нашай бяды» сложные шахматные задачи. И одновременно он боролся с официально-сервильным начальством, засевающим в Союзе еврейских обществ и организаций, возглавляемом лауреатом Ленинской премии, создателем Хатынского траурного комплекса архитектором Левиным, с предателями народа из газеты «Авив». Вольф великолепно говорил и писал на тарашкевице, настоящем белорусском языке, а не дешевой, приносившей к российской коммунистической терминологии «наркомовке», и потому чувствовал себя абсолютно своим в среде белорусских националистов. Но сегодня он осуществлял заветное: передавал Зоське Ледачке, потрясающей белорусской поэтке-модернистке, глубинную еврейскую мечту о слиянии белорусского и еврейского миров. Он мощными струями вливал в нее соки Израиля, и Зоська понимала торжественность момента, мастерски управляя лоном, она не упускала ни капли, это была великая национальная работа по воссозданию истинно нового человека – белорусо-жида. Белорусская рыхлость и скрытая озлобленность должны были обрести еврейские фанатизм и устремленность. Еврейские комиссары пытались оседлать большевистскую белорусизацию 1920-х годов, но дело оказалось гиблым. Изи Харик, великий еврейский поэт белорусского народа, бился в истерике в тюремной камере энкавэдэшной «американки», что в самом центре Минска, и повторял беспрерывно: «Дар вос? За

что?» Поэт-академик не мог понять, что это была расплата за чрезмерную еврейскую политическую активность. Но разве не к ней, не к такой именно активности, призывал их белорусский пророк, в 1942 году бросившийся вниз головой в лестничный пролет недавно снесенной гостиницы «Москва»? «Пора, Жиды, хозяева земли, пойти с народом нашим к чудо-свету – долг заплатить вам Беларусь велит». И они пошли в совместный поиск Мессии.

Но нужно было действовать и на генетическом уровне. Маргулиес знал об этом с молодых ногтей. Студентом филфака он увлек в лесные дебри на Минском море семнадцатилетнюю белоруску с подготовительного отделения Алесю, дочку архитектора, покрывшего ленинскими головами всю республику, и там, на природе, он объяснял ей секреты высшего познания, таившиеся в Торе и Литовском Статуте. Бормоча строки из Мишны, он брал ее на сосновом косогоре, и это было чертовски неудобно, поскольку юные стройные ноги Алеси уходили куда-то вниз, и сам он падал и сползал с нее, обдирая колени о сухие иголки. Тогда он решительно перевернул ее, и голова Алеси стала уходить вниз, зато перед глазами его открылось все богатство нетронутого и призывно сияющего славянского лона, и он вошел, ринулся в него по древнему праву победителя, призвав на помощь бога Адоная.

Шумели ветры партизанских дубрав, смешиваясь с горячим песком Синая, синие волны Минского моря заливали выжженные солнцем плато Самарии, «Магутны Божа» переплетался с «Атиквой», и под эту торжественную музыку творилось белорусско-жидовское единство.

И также, как Алеся, Зоська Ледачка закрывала глаза и видела воочию, как тысячи белорусо-жидов, высоких и стройных смуглых юношей с семитическим профилем и светлыми соломенными волосами и голубыми глазами, только в легких набедренных бело-красно-белых повязках, хранивших горячее, бурлящее, рвущееся наружу будущее белорусского народа, строгими и упрямыми колоннами идут к дворцу Правителя. Вместе с ними на последнем излете, куда ее уносило беспощадное обрезанное копые Маргулиеса, она уже собиралась крикнуть «Жыве Беларусь!»

и даже набрала побольше воздуха, но неродившийся крик застыл в ее горле, перебитый мощным воплем, несшимся откуда-то снизу, из глубин ближней мрачной лощины, заваленной павшими от бурь сырыми деревьями. Когда Маргулиес и Ледачка прибежали к краю лощины, там уже были остальные участники «выправы». Все, кроме Людки Станкевичанки.

– Она там, – трясущейся рукой указал Субойка, и все, спотыкаясь и скользя о глинистые края лощины, цепляясь за мокрые ветви, стали спускаться вниз.

Людка Станкевичанка стояла на самом дне, устланном крепким мхом, и неотрывно смотрела под широченную старую корягу, из-под которой торчала человеческая рука. Когда корягу отвалили, Гейм сразу узнал лежавшего под ней. Это был профессор Гончарик, пропавший три недели назад.

ХIII

Протокол допроса писателя Гейма Виктора Владимировича.

Допрос вел следователь Острошицкой районной прокуратуры капитан Малевич.

Вопрос: – Вы, кажется, писатель?

Ответ: – В некотором роде.

Вопрос: – Сможете описать личность профессора Гончарика?

Ответ: – Мы не были близко знакомы. Кажется, обыкновенный человек.

Вопрос: – Говорят, он был того... не в себе?

Ответ: – Может быть. Я ничего такого не замечал.

Вопрос: – Но вы – писатель. Должны замечать. У него были враги, недоброжелатели? Кто-нибудь из дачных соседей?

Ответ: – Не замечал.

Вопрос: – Зачем профессор Гончарик пошел таким неудобным маршрутом – по узкой и крутой тропе вдоль

озера? Вот у вас другие маршруты. Ходите по широкой дороге в сторону спорткомплекса. А он пошел в другую сторону – неудобное место для прогулок. Зачем?

Ответ: – Ну почему неудобное? Туристы там ходят.

Вопрос: – Профессор Гончарик не турист, он был старым, больным человеком. Зачем ему продираться сквозь кусты и лезть вверх?

Ответ: – Это вопрос не ко мне.

Вопрос: – Да... Тогда к вам непосредственно: какой вы национальности?

Ответ: – Зачем это?

Вопрос: – Для протокола. Требуется. Так какой?

Ответ: – У меня нет национальности.

Вопрос: – Так не бывает. У вас должна быть национальность. Как у всякого человека.

Ответ: – Я не всякий.

Вопрос: – Гражданин Гейм, кончайте придуриваться. Я вас русским языком спрашиваю: какой вы национальности?

Ответ: – Спросите меня по-белорусски. Ведь вы белорус.

Вопрос: – Я вас на десять суток за оскорбление работника прокуратуры при исполнении закатаю.

Ответ: – Попробуйте.

Вопрос: – Что вы делали на Любичском кладбище четвертого июня?

Ответ: – Искал могилу любавичского ребе.

Вопрос: – Какого ребе?

Ответ: – Любавичского.

Вопрос: – А кто это?

Ответ: – Ученый человек.

Вопрос: – Ладно. Вас видели на кладбище в тот день, когда недалеко убили бывшего депутата Скарбца.

Ответ: – Кто убил?

Вопрос: – Может быть, вы?

Ответ: – Я не убивал.

Вопрос: – Вот я и спрашиваю, что вы там делали?

Ответ: – Я уже отвечал на этот вопрос.

Вопрос: – Вы будете подписывать протокол?

Ответ: – Конечно.

XIV

Зачем он спрашивал про национальность? Впрочем, у *них* это всегда было важно. В самом начале перестройки Гейма попросили из какого-то московского журнала написать, как в нем, в его собственной биографии сочетаются разные национальные начала. Ах, если бы начала! А так – гремучая смесь! У мамы, красивой девушки из полесского Петрикова, отец был поляк. Пренебрег плотник Стефан Королицкий предостережениями ксендза и женился на Мейте, дочке бедного балаголы Лейбы Шульмана. Ну а дочь их Сима влюбилась в летчика с соседнего военного аэродрома Володю, у которого также был родительский интернационал: папа из каких-то давно обрусевших немцев, мама – русская. Вот и досталась Гейму соответствующая фамилия. Как понимал он Чуковского, прочитав в его дневнике растерянную запись: «Кто я? Еврей? Украинец? Русский?» Но у Корнея Ивановича над еврейско-украинскими родителями возвышалась его русская культурная ориентация. А у Гейма? Какой-то шопенгауеровский корень *четвероякого основания...*

Мама беременная на седьмом месяце бежала из Минска на третий день, когда была особенно сильная бомбежка. Подруга по еврейскому педтехникуму Шуля уговорила поехать в Москву, к Шулиной сестре, переждать... Шуля, активная комсомолка, была уверена, что немцам дадут прикурить, и временный их прорыв на несколько дней будет ликвидирован. Летчик Володя видел, как разбомбили в щепки его даже не успевший запустить двигатель самолет на аэродроме в Сморгони, потом закопал свой партбилет и военное удостоверение, содрал погоны и пробирался с товарищами на восток, прячась в лесах. Сима оставила у Шули для него короткую записку с адресом, по которому можно было разыскать ее в Москве. На привокзальной площади они с Шулей попали в жуткую мешанину людей, чемоданов, узлов, гудящих автомобилей. На грузовике с откинутым бортом стоял какой-то полный человек с хорошо знакомым Симе лицом. Он выбрасывал маленькие

стульчики, горшки с цветами, игрушки, еще что-то детское и кричал: «Эта машина отдана нашему театру!» А рядом стояла какая-то женщина в белом халате, протягивала руки и говорила: «Прошу вас, прошу вас, гражданин! Это машина нашего детского садика!» Сима узнала: это был Михаил Яншин, знаменитый мхатовский актер. МХАТ был на гастролях в Минске, Сима успела побывать даже на двух спектаклях. На протяжении многих послевоенных лет она, страстная театралка, никогда не будет ходить на спектакли МХАТа во время гастролей в Минске. Шуля буквально затолкала ее в осажденный людьми вагон. Она бежала вдоль тронувшегося поезда и что-то кричала. Спустя год она погибнет в минском гетто.

Эшелоны с беженцами, шедшие с запада, под Москвой разворачивали на юг. Недалеко от Белгорода попали под бомбежку, пути разворотило, народ высыпал из вагонов и подался кто куда. Сима на случайной подводе добралась до большого села, называвшегося Волоконовка. Входившая тогда в состав Курской области Волоконовка была железнодорожной станцией и по этой причине, вероятно, райцентром. С деревянным чемоданчиком в руках Сима явилась в районный отдел народного образования. А там ей обрадовались: местные педагоги уезжали в эвакуацию, учителей не хватало. Симу сразу же зачислили учительницей начальных классов. Только вот с жильем в Волоконовке были проблемы. Да, кто-то уезжал, но наплывали и беженцы. Да и кому охота брать на постой молодую женщину, которая вот-вот должна родить. Ребенок, хлопоты... Исполкомовская уборщица посоветовала: «Ты сходи к священнику нашему, отцу Федору, у него в саду летний флигель стоит. Может, пустит...».

Отец Федор жил в аккуратном двухэтажном каменном домике рядом с церковью Михаила Архангела. Когда Сима пришла, он куда-то собирался ехать и запрягал показавшуюся ей громадной рыжую кобылу. И сам отец Федор был большой, высоченный мужик с черной с проседью бородой и строгими глазами.

– Учи-и-и- тельница, – неожиданно тонким голосом пропел он. – Где ж я тебя поселю? В доме у меня сестра

Лизавета с двумя пацанами, муж на фронте. Во флигеле? Так он у меня летний, в жару там спасаюсь. Ну, да ладно... Пока можешь пожить. А там или найдешь что, или к зиме утеплим, досками обошьем.

Он оказался очень любопытным, этот сельский поп. Когда она возвращалась после уроков в школе, он любил под каким-то немудрящим поводом зайти к ней и начинал расспрашивать про Симинову семью, про ее жизнь в Белоруссии.

– Видать, комсомолка, – почему-то вздыхал он. – И училась, поди, хорошо...

Комсомолка, соглашалась она. И училась, действительно, неплохо. И общественницей была, особенно любила организовывать вечера в их педтехникуме. И с непременными танцами. И литературные, со стихами, с приглашенными писателями. «Сима, тебе нужно пригласить Ивана Доминиковича», – с намеком говорили подруги. И она шла к домику на берегу Свислочи. Янка Купала со шляхетской церемонностью целовал руку красивой студентке и, конечно, соглашался прийти. В довоенном Минске с дощатыми тротуарами и палисадниками даже на центральных улицах была своя провинциальная, теплая простота человеческих отношений.

– Ты, выходит, еврейка по матери, а муж у тебя русский, но почему-то вроде как с немецкой фамилией, – недоумевал отец Федор. Сима терпеливо разъясняла священнику историю семьи Геймов. Разумеется, всего рассказать не могла. К примеру, что записалась еврейкой, когда получала паспорт перед выездом на учебу в Минск, по совету своей подруги Стефки Модзелевской, работавшей секретаршей в Петриковском исполкоме.

– Пишись еврейкой, – убежденно говорила Стефка. – Евреи теперь в большом почете. Самая преданная советской власти нация. Посмотри, кто у нас первый секретарь райкома партии, – Давид Залманович. И в исполкоме кто главный? Евсей Фишелевич! Вот так! А к полякам, сама знаешь, доверия нет. Потому что белопанская Польша под боком...

Отец Федор слушал Симу и качал головой.

– Ребеночка-то нужно будет крестить, – наконец, сказал он. – А то на селе у нас не поймут.

- Как скажете, – ответила Сима, опустив голову.
- Да ты не переживай, – сказал он. – Я же понимаю... Учительнице не положено... Но сейчас время такое...
- Я понимаю, – ответила Сима.

А что понимала она, Сима Стефановна Гейм, уроженка белорусского полесского городка Петрикова, двадцати двух лет от роду? Мать и отец разговаривали на еврейско-польской мешанине с сильным домесом белорусских выражений, что не помешало ей основательно освоить и белорусский, и польский, и идиш. Она вообще была способна к языкам, в отличие от пятерых братьев и четырех сестер. Да, их было у матери с отцом десятеро. В тридцатые годы молодежь из провинциальных городков и местечек потянулась в большие города, в Киев, Минск и дальше – в Москву. Ленинград. Поступали в институты и техникумы, в военные училища. Сима поступила в минский еврейский педтехникум, готовивший, так же как и два других минских педтехникума – белорусский и польский, учителей начальных классов. Связь между братьями и сестрами с годами слабела, хотя они не без ревности следили за успехами друг друга. Стефан и Мейта старели и тосковали в опустевшем доме. В летние месяцы дом ненадолго оживал, кто-то из детей приезжал отдохнуть, поплескаться в Припяти, естественно, с женами и мужьями, с малыми ребятами. А жены и мужья у сыновей и дочерей Стефана и Мейты тоже представляли собой интернационал: были тут и молдаване, и украинцы, и грузины, и даже одна черкешенка. И какие в этом интернационале могли соблюдаться культурные, религиозные традиции? Правда, Стефан два раза в году заходил в костел – на Рождество и Пасху, но на исповеди и у причастия не бывал. А Мейта в синагоге и вовсе не бывала, молилась своему еврейскому богу тишком и еще знала разные старинные еврейские песни. Некоторым Сима научилась от нее, и они любили иной раз затянуть в два голоса. Но тихонько, чтобы не дай бог никто из соседей не услышал. Впрочем, об этом она отцу Федору не рассказывала. Понимала: это лишнее.

А когда в середине августа родился Витенька, сразу же позволила его окрестить. Крестным отцом записали дья-

кона Иннокентия, а матерью сестру отца Федора, сухую и неразговорчивую Лизавету. Запись эта в церковной книге, конечно же, была тайной. Официальное же свидетельство о рождении сына – метрику – Симе выдали в Волоконовском загсе. А в конце ноября в Волоконовку пришли немцы.

В селе расположилась какая-то мотострелковая часть. Отношение немцев к жителям поначалу было вполне терпимым. Школа продолжала работать. Молодые офицеры при встрече с красивой черноволосой учительницей прикладывали два пальца к козырьку и улыбались. Атмосфера приобрела напряженность, когда перед самым Новым годом Базарную площадь обнесли колючей проволокой, а в стоявшие на ней старые склады загнали несколько сотен пленных. А вскоре рядом построили барак, в который из складов перевели евреев – солдат и младший командирский состав. Кто сам не скрывал своей фамилии, а кого, говорят, выдали свои же союзники по лагерю. По селу были расклеены объявления о расстреле за укрывательство евреев.

Отец Федор решил поговорить с Симой.

– Конечно, фамилия у тебя вроде как немецкая. Но как докажешь, что ты, к примеру, жена фольксдойча? Когда на работу устраивалась в школу, небось, в районо в анкете написала и про мужа, что он в армии, старший лейтенант, и про других родственников своих. По селу уже говорят, что я приютил еврейку. Надобно тебе, Сима, съезжать отсюда с малым твоим.

Ночью отец Федор отправил их на подводе за Оскол, на дальние хутора. Спустя меньше года советские части выбили немцев из Волоконовки, но Сима с Витюшей оказались за линией фронта, на занятой вермахтом территории. И только после Курской битвы, когда в начале августа сорок третьего года был освобожден Белгород, они смогли вернуться в Волоконовку. Их встретили как родных, полсела сбежалось посмотреть на выжившую учительницу и ее сынка. Даже сухая Лизавета прослезилась. Отец Федор повторял: «Велика милость Господня!»

Сима опять пошла работать в школу. Витюша оставался во флигельке вроде под присмотром Лизаветы, но по сути один, потому что у Лизаветы в своем доме забот хватало –

Ваню с Гришенькой накормить (первому было семь лет, второму пять), отца Федора обиходить. Забежит Лизавета на пару минут, подстилку переменит, сунет малому хлебного мякиша и снова к себе – готовить да стирать. Витюша часто болел, да так сильно и разными болезнями, что говорили – уже не жилец он. Но малый карабкался. И даже буквально. Это когда года в три из-за кори он временно ослеп и, еле держась на слабых ножках, шарил по стенке у окна, где висела на гвозде торбочка, в которую шедшие в школу дети, завернув с дороги к флигелю отца Федора, бросали то кусочек хлеба, то яичко, то головку лука.

К концу сорок третьего года Симу через Красный Крест отыскал младший брат Володи Анатолий, работавший инженером на оборонном заводе в Саратове. Он сообщил ей номер полевой почты Володи. Два года Сима не имела от мужа вестей, наконец, получила письмо, а чуть позже и продаттестат, по которому через местный военкомат стала получать продукты и деньги. Жить стало полегче. Сима справила себе новое платье, купила обновки ходившему в рубашке и штаниках из грубой, коловшей тело мешковины Витюше.

Анатолий звал переехать к ним на Волгу, обещал работу в школе, а, главное, хорошее жилье, которого много осталось там после высылки поволжских немцев. Последнее обстоятельство было решающим для Симы. Витюша часто болел из-за жизни в хотя и утепленном, но больше для лета приспособленном флигеле отца Федора. Впрочем, и летом болезни не оставляли его. Вот и накануне поездки температура подскочила. Но уже были взяты билеты, и Сима на руках держала буквально горевшего и задыхавшегося сынка, неловко сидя на подводе в окружении узлов с их пожитками. А на вокзале едва не случилась беда. Сима вспомнила, что фляжка для воды пуста, отбежала совсем рядом, к вокзальной стенке с краном, прислонив Витюшу к узлам на платформе прямо перед входом в вагон. А поезд неожиданно тронулся. Совсем тихо, незаметно. Она птицей подлетела к вагону, проводница протянула ей руку и рывком втащила на ступеньку. Наверное, в этот момент Сима была в каком-то бессознательном состоянии, потому что

поддалась этому порыву, схватилась за протянутую руку. Но в тот же момент обожгло: Витюша остался! Наверное, крик ее был так страшен, что стоявший на платформе солдат ухватил Витюшу и какой-то узел и добежал, сумел подать в ускорявшийся вагон.

Из этого первого большого путешествия остался в его памяти переезд по казавшемуся бесконечным железнодорожному мосту через Волгу. Берегов не было видно и, казалось, поезд сквозь мелькающие пролеты парит над водным простором.

Анатолий Гейм жил в небольшой служебной двухкомнатной квартирке в барачного типа домике при заводском поселке. В одной комнате теснился он сам с женой и двумя малыми детьми, в другой жила его мать, грузная и строго глядевшая старуха Екатерина Капитоновна, десять лет как похоронившая своего мужа, известного на Волге пароходного механика. Сама Екатерина Капитоновна происходила из старообрядческого семейства знаменитого еще в дореволюционные времена нижегородского рыбака Маркова. Богатейший был купец и как филантроп славился, давал и на монастыри, на вдовьи дома., гимназию в Нижнем построил. В комнате бабушки Витя видел его портрет – бородатого мужика с грозно нависшими бровями. Ниже портрета по стене шел электрический провод с розеткой, в которую Витя вставил какую-то тонкую железяку. Его так потрянуло, что вызывали доктора, он долго плакал и сквозь слезы повторял, что это дед Марков его ударил. Ему казалось, что баба Катя глядела на него осуждающе, и он старался уйти от ее немигающего взгляда.

И был счастлив, когда они с Симой уехали на противоположный берег Волги, где им разрешили поселиться в одном из пустых домов в Фриденфельде, поселке немцев-колонистов, высланных в Казахстан еще в начале войны.. Дом был огромен, Витя боялся заблудиться в его бесчисленных комнатах, однажды таки заблудился и громко кричал, пока Сима не отыскала его. Все в этом доме было огромно и прочно, будто сделано на века – столы, стулья, шкафы, кровати. Но особо его притягивали изразцовые печи. Их кафельные квадраты были изрисованы удивительными

фигурками и сюжетами, тогда он не знал, что это картинки из Библии, но часами вглядывался в них. А для Симы эти печи были настоящим наказанием. Они пожирали громадное количество дров, которые нужно было и запасти и наносить. А привозили бревна, и нужно было нанимать людей распилить, поколоть, сложить под навесом. Они топили только в одной комнате, в которой жили, но дом промерзал, и холод вползал в их комнату. Вдобавок замерз колодец, и за водой нужно было спускаться к пробитой в реке полынье.

Сима выбивалась из сил. Школа была за три километра, в соседнем поселке. Она тащила связки тетрадей, которые вечером нужно было проверить, а утром раздать с оценками, свой портфель и еще две-три раздувшиеся сетки с продуктами. Витя ждал ее в холодной комнате, завернувшийся в два одеяла, обложенный подушками. Он встречал ее надрывным кашлем. И в школе у Симы не заладилось. Это были не деревенские дети, как в Волоконовке, приученные к уважению к учителям. Здесь съехалась беженская ребятня из разных краев, немало повидавшая в эвакуации, ожесточившаяся, загрубевшая. Симе дали четвертый класс, а там были переростки по 13-14 лет. С ними было трудно.

Она решила вернуться в Волоконовку. Их приезд в Саратов к Анатолию был неожиданным для всех. Она ничего не сообщила деверю о своем решении, боялась, что начнет отговаривать. В тот вечер, когда они, намерзшиеся на переезде через Волгу, ввалились в квартиру Анатолия, туда же пришла телеграмма: Володя сообщал, что через два дня будет в Саратове.

Капитан Владимир Гейм приехал не один – в сопровождении сержанта, которого звали Николаем. Пока выгружали из «газика» вещи – тюки и чемоданы, опоясанные ремнями, Витя разглядывал приезжих из-за калитки палисадника. Капитан Гейм сначала поздоровался с матерью и братом и только потом приобнял жену. Сына, которого не видел с рождения, чуть потрепал по голове, пробормотав: «Какой заморыш, однако». Витя не знал, что означает слово «заморыш», но оно ему не понравилось. На кителе капитана сияли два ордена Красной Звезды, медали, и это

смягчало для него скупость встречи с отцом. Но вечером того же дня, когда все сидели за столом, случилось то, что стало точкой отсчета их последующего отдаления друг от друга, почти разрыва. Витя сидел рядом с бабой Катей и играл с широким и тугим офицерским ремнем. Он скручивал его и придерживал, когда тот разжимался. Но как-то не удержал и конец быстро размотавшегося ремня хлестнул по лицу бабу Катю.

– Ты что себе позволяешь, стервец? – мгновенно зайдясь в ярости, крикнул старший Гейм. Он бил его этим же ремнем, а баба Катя смотрела важно и неподвижно, в то время как Сима пыталась защитит сына и подставляла под удары свои руки. «Не чэпен!», – кричала она. Это была смесь идишского жаргона с белорусским «не чапай» – «не трогай». Но капитан отталкивал ее и вершил свой жестокий суд.

С того дня пришла нелюбовь к отцу. Он так ждал его, а теперь хотел, чтобы тот побыстрее уехал. Сквозь слезы он все-таки взглянул ему в лицо – со страхом и ненавистью. И, может быть, отец впервые ощутил, что сын ему чужой, что это не его сын. Его сын, Борик, родится семь лет спустя, в Бобруйске, при нем. И это будет действительно его сын, послушный его воле, а не этот, родившийся не при нем, постоянно перечаший ему, начитавшийся книжек и обличающий его.

Старший Гейм, в генах которого немецкий педантизм перемешался со старообрядческой жесткостью и нетерпимостью, строго следивший за тем, как во время обеда ему накрывали на стол, с какой стороны прибора лежит свежий номер «Правды», вспыхивал мгновенно, при малейшем непокорстве старшего сына. И тут же пускал в ход руки. И еще он унижал, плюя ему в лицо. Виктор до сих пор помнит тошнотворный запах отцовской слюны. Двенадцатилетним подростком он кричал: «Фашист проклятый! Ненавижу тебя! И фамилию твою, проклятую, фашистскую, ненавижу!» Последнее приводило капитана Гейма в особенную ярость. Он буквально превращался в зверя. Виктор спасался бегством и только поздней ночью возвращался домой. В четырнадцать лет он поднял на отца тяжелую табуретку и спокойно сказал: «Я сейчас проломлю тебе голову, а если

не получится – ночью перережу тебе горло. Пойду в колонию как несовершеннолетний, но ты сдохнешь».

Старший Гейм отступил. С той поры он не замечал Виктора, будто его и не было в доме. Виктор спросил жившую в их подъезде паспортистку Зину, можно ли сменить фамилию. Та ужаснулась и, прикрыв рот, убежала.

XV

Правителю не сорок и не пятьдесят, ему всего-то двадцать пять. Как и должно быть по сути. Как оно и есть на самом деле. И они мчат на шикарном джипе «Бентли» куда-то за город. Бренчит на гитаре Змицер Вартосик, кидает свои соленые шуточки Лелик Мушкин – это друзья-националисты, которые не продадут. Тормозят у какой-то харчевни. Ах, где все эти Анжелики, все эти мисс Беларусь и прочие поблядушки? Куда все подевались? – кричит Правитель. Только один маленький белокурый жополиз, «золотой голос России», виляя бедрами (не гомик ли?), лезет со своей «Шарманкой», не понимает дурак, что всем этим его крикам о лучшем Правителе в СНГ, грош цена. Но если за песню, приправленную лстивым поцелуем, дают на «Славянском базаре» сто тысяч баксов – почему нет? Беларусь – лакомый кусок. Многие липнут. И он дает, не жалеет. Вот «Литературную газету» поддерживает, с этим редактором... как его? ну морда рыжая, круглая, похабная как шар... про комсомольско-райкомовский разврат повестушки строчил, а теперь вот первый государственный... понимает, сука, куда рулить надо... И «Нашему современнику», клюющему жидов в каждом номере, подбрасывает сырое мясо. Там тоже редактор с физиономией бандюги записного. Но ведь защищают его перед демократической российской сволотой. Это главное.

Он велит открыть все окна в этой вонючей забегаловке. Народ должен видеть – у него нет секретов. А Лелик все зудит на ухо:

– Ну скажи пару слов по-белорусски! Ну что тебе стоит? Народ оценит.

И Змицер подмигивает: «Скажи!»

А что? Вот возьмет и скажет! И не с обычной подъебкой, которая так обижает националов, когда он издевательски утрирует белорусское произношение, а по-настоящему, культурно, как надо. Короче, он возьмет «чынны ўдзел». Ах, как нравится ему это выражение – «ен бярэ чынны ўдзел», то есть принимает надлежащее участие, это действительно государственное выражение и как оно близко белорусской душе!

Но что-то мешает ему. Какой-то контроль. Может быть, из Лондона, из района Финчли, из самого Белорусского дома святой отец Надсон наблюдает за ним с недоверием? А из Монреаля грозит пальцем председатель Рады БНР старая эмигрантка Ивонка Сурвила?

Он уже готов сказать эти слова, и Лелик Мушкин подсовывает ему какую-то бумагу с белорусским текстом. Наверняка Субойка написал. Опять обещает прощение всех грехов... Да, националисты готовы с самим дьяволом сотрудничать, если он будет говорить по-белорусски. В войну с немцами так и было. Кубе жопу лизали. Но слова застревают в горле, с горечью он рвет подсунутую бумагу.

Ну как они все не поймут? Он – великий русский сын великого белорусского народа. Или нет – наоборот: он великий белорусский сын великого русского народа. Пожалуй, последнее более правильно и солидно. Сталин был грузин и считал себя сыном русского народа. Нормально! Белорусы – неплохие люди. Но русский народ – это действительно великий народ. И русский язык великий. И не хрена долбить националам каждый день, что все империи в конце концов разваливаются. Ничего хорошего от этих развалов не бывает. И вообще, история движется империями, великими государствами, а не этими жалкими лоскутками. У великих стран и культура великая и язык... И преступления великие. Взять, к примеру, что историю Великобритании, что Франции... Какие битвы! Какие заговоры и казни! Какая история! Потому и литературы великие, искусство мировое! Правильно Жириновский сказал про прибалтов – крысиные народы. Сидят в своих норах и шипят. А что они дали миру? Где их мыслители,

писатели, художники? В конце концов о странах и народах судят по их вкладам в мировую историю и культуру. Да, Янка Купала и Якуб Колас... Но это же фольклористика-этнография... «Я мужик-белорус, пан сохи и косы...». Кто это читает и кому это сегодня нужно? И у литовцев с латышами и эстонцами то же самое. Ни одного великого имени.

Змицер, черт, дергает, куда-то тащит. Ах, вот оно что? В этом полутайном развратном кабинете уже вся нацдемовская верхушка собралась! Сам Мирон грозно хмурит брови. Рядом с ним молодой суетливый Калунчик, предавший своего отца, секретаря обкома КПСС. Мирон – великий фотограф и археолог. Сын какого-то дзезча из западников. Ну и что, Мироне? А у меня не было деда! И отца своего я не помню! Байструк! Безотцовщина! Голь, смаркота деревенская! Но я Правитель, а ты – мразь, сука националистическая. Предал свой народ, сбежал как последняя тварь дрожащая. Сидишь на жалком американском пособии в Варшаве, стишки дрянные кропаешь. И правильно сделал, что сбежал, я бы тебя, жердягу пердячую, в камеру к уголовникам сунул. Они бы тебя, блядь бэнэфовскую, распетушили, и мы бы с Азаренком фильм сняли и по БТ показали, как тебя хреначат во все дырки.

– Спадар Правитель, – говорит спокойно и ответственно Мирон, – предлагаю обсудить идею Балтийско-Черноморского союза, а также вопрос реконструкции на площади Свободы в Минске разрушенного за советами здания, где в середине девятнадцатого века была поставлена первая белорусская опера «Сялянка». На сюжет комедии Дунина-Марцинкевича, композитор Монюшка.

– У вас есть шанс войти в историю, – миролюбиво говорит Калунчик.

– Давай, соглашайся! – шепчет на ухо Лелик. – Девки, анжелики-стаси-алеси наши, ждут, ногами перебирают, течет у них все уже... Давай! А потом хоккей будет. Три – семь в твою пользу.

Подработали уже всё, холуи позорные. Знают, что он любит порядок и должен быть проинформирован о конечном результате. Всем известно, как он строг и требователен, особенно в селекторных совещаниях. Замечательная

вещь – селектор! Вся страна сидит в зале заседаний. Все задействованы.

И Змицер все подмигивает. Нужно будет его окулисту показать. Правитель человек молодой, но опытный. Самому Горбачеву советы давал по части урожая и всякого земледелия. Явлинский крутился, 500 дней предлагал, а Горбачев к нему, тогда директору директору плодоовощного комбината, с полным пониманием отнесся. Хороший мужик, только безвольный. Он бы его у себя на комбинате по профсоюзной линии пустил. Там ему самое место. Говорун.

– Ты, Мирон, – говорит Правитель, еле сдерживаясь, но помня о своем статусе, – конкретно не врубаешься. С тобой сейчас тут такое будет, а ты про какую-то Монюшку разводишь. Тем более, что стихи Быкова я в детстве учил наизусть.

– Спадар Правитель, – строго возражает Мирон, – мы должны прийти к согласию. Народ устал, белорусы ждут. Мы знаем, вы не хотите войти в историю как наследник Ивана Жахливага.

А что, собственно, они имеют к Ивану Грозному? К Ивану Васильевичу? Народ сохранил в своей благодарной и трепетной памяти посох Ивана IV. Ну так, воевали русские с поляками. Ну пусть будет не с поляками – с литвинами, это значит с белорусами и литовцами-летувисами. Хотя и без поляков не обошлось. Без них нигде не обходится. Войны – это нормальный исторический процесс не только того времени. Кто виноват, что Радзивилл с Ходкевичем малое войско набрали и с тем стояли в восьми милях от Полоцка и наблюдали, как горожане отбивали приступы царских полков? И что мог сделать воевода полоцкий Девойно против пушек, стрелявших буквально в упор по городу? Мирон сбежал, испугался рассказов своего наперника Калунчика (льет грязь на страну на «Радио Свобода») о возможной петушиной расправе с ним в тюрьме, а воевода Девойно бился сколько мог и когда уже все горело и воины вместе с женами и детьми задыхались в дыму и огне, поверил царскому слову и капитулировал. Теперь Мирон разную националистическую херню в оппозиционный «Народный голос» подбрасывает. Пытается Его задеть, на

полемику вызывать. Андрея Курбского, курва продажная из себя строит. Как же, начнет, вступит он с ним в переписку!

И все-таки слабоваты оказались литвины в Полоцке. А вот поляки, человек пятьсот, рыцари от Короны, еще сопротивлялись несколько дней. Победители-москали повели, обвязавши веревками, полоцких невольников в Московское княжество, то ли 12 тысяч, то ли 50 – нет единства у историков. Воеводу Девойно с епископом Арсением на подводу из уважения кинули. Особо удивились люди московские тем полочанам, что были с длинными бородами и пейсами и выглядели совсем чужестранно, и молились не христианскому богу. Побросали их по цареву приказу просто с моста в Полоту. А еще гнали на Двину, ломали лед и там топили. В Псковской летописи о том сказано с эпическим спокойствием: «Которые были в городе жили люди жидове, и князь великий велел их с семьями в воду речную вметати».

Замечательное выражение – «вметати»! Сразу Гоголь вспоминается. У него в «Тарасе Бульбе» тоже жидов то ли в Днепр, то ли в костер мечут и смешно мелькают в воздухе жидовские ноги в чулках, и пейсы, и развевающиеся халаты. Правда, и ляхов Гоголь не пожалел. Они, говорят, до сих пор «Тараса Бульбу» издать у себя на польском не могут. Обидчивая нация! Ну зато мы своих, белорусских полячишек, к ногтю взяли. Западу мерещится, что Гродненщина это чуть ли не белорусский Пьемонт. Что оттуда все и начнется, то ли оранжевая, то ли джинсовая поебень по стране поползет. Не возьмут в голову, идиоты, что это же наши поляки, советской жизнью обработанные и укатанные, ни в какую «Солидарность» они никогда не пойдут. Так, пошебуршат немного, сменит он у них руководящие кадры, все опять будет спокойно. Это поляки, прошедшие нашу византийскую выучку. Понимают, что в государстве главное твердость и даже, как писал Леонтьев, свирепость. Замечательный был русский мыслитель. Так прямо и писал: «Властвовать нужно беззастенчиво». Книгу его недавно подsunул бывший цековский кадр, писателишка Сробелев, теперь у него в идеологическом отделе старается. Крепко жидов не любит, считает, что Сталину не дали решить эту

проблему до конца, отсюда и все горе последующее. А ведь могли бы с Гитлером сговориться и решить главную проблему мировую – еврейскую, раз и навсегда. Впрочем, он роман Сробелевский про истинное завещание Сталина не читал. Некогда.

Ну ему и Леонтьева читать некогда, но места, подчеркнутые Сробелевым, просмотрел. И ведь нашел, нашел подтверждение своему сокровенному, в ночах и страданиях обдуманному! Путь у нас особый, свой. От Византии идущий. На Западе это понимали, а в России как горох о стенку отлетало. Подумать только: французскому послу Морису Палеологу, не самого большого ума человеку, в годы Новой Смуты, перед свержением царя, все было понятно. Вот он выписал из него прямо пророческие слова: *«В России вне царского строя, вне его административной олигархии ничего нет. Нет ни контролирующего механизма, ни автономных ячеек, ни прочно установленных партий, ни социальных группировок»*. И в этом кардинальное отличие России от стран Запада. И тогда и сегодня. Правило это, безусловно, распространяется и на Беларусь как осколок России. И что замечательно, Иван Солоневич, белорус родом с Гродненщины, это прекрасно понимал. Его «Народная монархия» буквально стала настольной книгой. Образованнейший человек, Солоневич считал самодержавную монархию наилучшим государственным строем для России. Националисты белорусские и вспоминать не хотят о своем кровном, из народных глубин вышедшем монархисте, хотя имя его широчайше известно. Стыдятся такого земляка, писавшего, что «политической организацией народа в его целом было Самодержавие». Раз такое писал белорус, значит есть это самодержавное начало и в крови белорусского народа. Что уж говорить о русских...

Пока маленький человек, залетевший на российский трон, этого крепко не возьмет в голову, пока будет играть-обниматься с западными лидерами, ни хрена хорошего не выйдет. Но вроде уже понимает, речи стал крутые перед Западом держать, армию поднял. Крым уже подогнал к российским берегам. А там, глядишь, и Украину бандеровскую завалит.

Крови, конечно, много прольется. А какое дело серьезное без крови возможно? Тут, конечно, и ему при российском имперском размахе можно в Беларуси власть потерять. Следует быть максимально осторожным. С Западом в свои игры играть, националистам кусочки подбрасывать. Вот и Варто-сик, перебирая струны гитары под Богдановичеву «Пагоню», кивает головой, понимает... И Лелик с ним согласен, хотя и держит еще в какой-то слабой надежде Субойкину грамоту за спиной. А что, ребята, у вас в сухом остатке?

Другая летопись говорит об Иване Васильевиче: «Муж чудного рассуждения, в науке книжного почитания доволен и многоречив, зело к ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен».

Вот оно важнейшее – «к ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен»! А болваны из оппозиции все рассуждают, какая форма на Правителе в дни парадов и военных учений. Генералиссимус он или еще кто? Да какая разница, спадары? Главное – «к ополчению дерзостен и за свое отечество стоятелен». А у кого теперь стоит? Кто способен вообще на такое стояние? Народ понимает это. И никакому историку *свядомаму*, вроде Сагановича, это не перешибить. Это на века. А потом уже те же услужливые писаки подработают и войдет в историю: «величайший России шестнадцатого века». И еще «мастер русского языка». Так пишется история. А утопленные в Полоте жида и порушенные вежи полоцких замков это только ее орнамент. Они, националы, и сейчас готовы ему жопу лизать, скажи он одно слово по-белорусски. А за три слова раскоряками мордой в землю, в дерьме перед ним лежать будут и вопить: «Он наш! Наш!» И с какой радостью отдадут на растерзание своих друзей и ненавистных соперников из числа либералов, особенно пророссийских. Они, националисты, еще могут пригодиться в его игре. Поэтому пускай пока бренчит на гитаре Варто-сик и рассказывает свои анекдоты Лелик Мушкин.

Теперь нужно ехать ко Дворцу Республики. Там собрались доверенные люди. Будут обращаться к нему. Анжелика-Стася-Алеся под фанеру шарит у него в штанах, и уже

начинают сверкать молнии и может грянуть цыганский гром, но сейчас другая стоит задача. Хотя Евровидение было бы кстати. Крейман сообщает по мобильному, что у Дворца опасно, не успели еще убрать все щиты ограждения после гигантского концерта с жадными к его щедрым подачкам российскими и украинскими поп-звездами, который он вчера разрешил для народа. Хреново работают в охране. Он лично недавно объехал садовые товарищества в районе Раубичей. Эти дачники просто охренели со своими зелеными изгородями. Неужели непонятно, что такая изгородь – это великолепная засада для террориста. Неделию назад он подписал указ о ликвидации всех зеленых изгородей и разных кустов у дорог и аллей. Всё должно просматриваться. Газоны должны быть высотой не более десяти сантиметров от земли. Все, что выше, обязательно состричь или уничтожить.

Лелик написал на эту тему остроумный фельетон в «Нашай беде»: мол, бедным белорусам теперь негде спрятаться от своего Правителя. Правильно осветил вопрос. От Правителя не нужно прятаться, потому что Правитель всех и всё видит.

Рванули на четырех мерсах на Раубичский стадион биатлонный. Там все хорошо просматривается, стрелки сидят даже на бывшей Крестовоздвиженской церкви, превращенной в музей народного творчества. Белорусы не привыкли еще к тому, что прежняя жизнь кончилась. Нет в мире спокойствия прежнего. Каждый день по всему миру, включая Россию, взрывы и убийства. Новый Орлеан утонул. И только Беларусь синеокая, звездочка малая, сияет тихим светом в этом ужасном мире насилия. Вартосик совсем окосел от дикого количества пива и заваливается ему на плечо. Вообще такого панибратства с Правителем быть не должно. Но пускай люди видят, что он тоже человек и готов сочувствовать даже националисту. Вартосик, этот белорусский Высоцкий, что ли, человек талантливый, говорят, уже пишет новую песню про гибнущую матчыну мову. Это занятие на всю жизнь. Они всю жизнь пишут про это, про матчыну мову. Вообще-то, Правителю с политическим чутьем нужно иной раз делать небольшой экивок в сторону

национальных чувств. Им ведь много не нужно... Но это позже, когда в самом деле потребуется. А пока со «свядо-мыми» следует обходиться без сантиментов.

На Раубичском стадионе хотя и ночь уже, а светло как днем. Врубили все электричество. Ни одна мышь не останется незамеченной. Доверенные лица от народа стоят на коленях уже четыре часа. Дожидаются его. Это правильно. На коленях хорошие мысли в голову приходят. Мирон с Мандрыкой, католики или униаты проклятые, на одно колено встали, намекают, что веру свою блюдут, а не на верность ему присягают. Пускай пока тешатся кретины...

Выступил вперед от белорусского политического мещанства бывший ректор университета Мазулин, которого он в грязи нашел. И читает вслух по бумаге: «Пускай Правитель укажет нам своих изменников, мы сами истребим их!» Дошел бывший ректор до точки, готов самолично истреблять врагов Правителя. Но вот Мирон с Мандрыкой рвутся на трибуну. И кричат, перебивая один другого, что если он, Правитель, будет отстаивать суверенитет Беларуси, то они возьмут оружие и будут сражаться рядом с ним плечом к плечу. У Мандрыки вроде даже слезы в глазах стоят. Чувствительный националист. Правитель знает, что за белорусский суверенитет они ему многое простят: и тюрьмы-аресты, и то, что он гребует белорусским языком... А Мирон набылчился, желваки ходят, наверное, представил, что ему уже дали автомат, и он косит всех врагов Беларуси без разбору.

Нет, ребята, вы сначала сходите в районный тир из мелкашки пострелять. В году эдак шестьдесят восьмом надо было начинать. Заходишь пацаненком в такую вот мрачную с виду будку, а там хуевинки разные развешаны, зайцы, медведи, из картона или жести, что ли, ну эти крупные мишени, в кругляшку под ним попадешь – он и перевернулся, сердешный, головой вниз. А вот бомбочки – там уже кружки помельче. Или какие-то фигурки движутся – попади по ним. А уже в потной ладони осталось два всего патрончика, и рука уже дрожит, усталая от нервного напряжения. Он попадает все-таки в бомбочку, которая ухает с разрывом, и выходит на воздух.

Теперь на речку. Там ребята постарше, разомлев от жары, дречат. Васька Хорьков у Петьки Раздороги прове-ряет, показалась ли малофья. У Петьки какая-то капелюшка выступила, но он не уверен, что это то самое. Но Васька уверяет его, что это оно и есть, то, от чего дети рождаются. Эти ребята на два года старше его, и ему это неинтересно, большие дурни, а чем занимаются? Они и его подначивают, даже пытаются трусы стянуть, но он убежал в свою «хованку», тайное место свое меж ветвей старого тополя. Там укрепил он большой кусок фанеры, так, чтобы было можно долго и удобно сидеть. Место это он прозвал он своим штабом. Оттуда он командовал всеми. Все подчинялись ему беспрекословно. Председатель колхоза. бригадиры, милиционер Брахович и даже... страшно сказать... сам первый секретарь райкома, приезжавший в их деревню на черной «Волге».

У себя в штабе, на тополе, не видимый никем, он мечтал. Вот он приезжает в деревню на черной «Волге», и все начальство бежит ему навстречу, и директор школы, и старшая пионервожатая высокая, грудастая, с заплетенной косой Люба, поместиться у которой между ног и жить там было его сокровенной мечтой. Люба однажды играла с ними в баскетбол и как-то случайно задела его, он отлетел, поскользнулся и ударился лбом о скамейку. Люба бросилась к нему, платок, смоченный холодной водой, прижала к окровавленному лбу, а потом его самого, к своей необъятной, как океан груди, и тогда у него возникло впервые это желание войти в нее, спрятаться в Любиных ногах. Уйдя за дальние огороды, он проверял свой член, может ли он понравиться Любе. Член, как ему казалось, был подозрительно велик для шестиклассника. Особенно в боевом состоянии. Он орошал зеленую траву молочными кристаллами и, едва справившись с возбуждением, долго потом шел куда глаза глядят.

И как-то с пацанами набрел на молоденького жеребца, пасшегося в неглубокой ложине. Они стал выгонять его палками из ложины, и кто-то неожиданно коснулся жеребьей мошны. В ответ из нее стал вываливаться и распрямляться громадный, тугой, коричневато-розовый

шланг. Шланг затвердел в почти полуметровом состоянии, и сам жеребец застыл, ожидая чего-то необыкновенного. Он только поворачивал голову по сторонам, косил темным бешеным глазом и похрапывал.

Этот жеребец, получивший кличку Командирский, послужил ему, когда он, избитый Васькой и Петькой, попал к цыганам. Он не знал, как это вышло, но в тот вечер на него нашло. Он только приехал из межколхозного пионерского лагеря, рассказывал старшим друзьям, как там жилось и совершенно неожиданно для самого себя поведал им невероятную тайну. В лесах рядом с лагерем скрывался партизанский отряд, оставленный со времен войны для выполнения специальных заданий, уничтожения врагов советской власти. Ему поверили и приняли в отряд, теперь он ихний засекреченный разведчик, которому доверено привлекать и других ребят, но только очень надежных. Целый вечер, допоздна, они втроем, он, Петька и Васька, ходили вокруг деревни, и он все рассказывал и рассказывал им про этот отряд. Это было как поэма, как самые красивые стихи, которые он когда-либо читал. Прошел дождь, образовались громадные лужи, и неожиданно перед одной из них, Петька, грубый, жестокий Петька, сказал ему: «Товарищ командир, давайте я вас перенесу». Он не успел ответить, как Петька подхватил его и понес через лужу. Это было таким счастьем, но и тревога сразу охватила его. Он понял, что они поверили и теперь не отстанут.

Он выкручивался как мог, сочинял все новые эпизоды из жизни отряда, но друзьям уже это прискучило, они хотели сами все увидеть и войти в непосредственный контакт с тайными бойцами. Он вынужден был назначить день похода. Вышли рано утром, взяв с собой по куску черного хлеба с солью, паре яиц всмятку, огурцу и бутылке с водой. Он повел их в сторону дальнего Быковщинского леса. Когда шли через тянувшиеся от Могилева поля фильтрации с зацементированными канавами-желобами, от которых слегка воняло, Петька отвлекся от расспросов об отряде и, выломав тонкий прут, стал цеплять им какие-то белые продолговатые мешочки. «Гондоны пригодятся», – говорил он, заворачивая улов в кусок старой газеты. А потом

все началось сызнова: «Сколько еще идти? По чём видно, что мы идем туда, куда надо?» Он старался убедить их, показывал некие условные знаки: вот что-то вроде стрелы на стволе сосны, вот две ложбинки в траве, сходящиеся под углом... Друзья вглядывались в знаки и напряженно молчали. Уставшие, сели перекусить, и тут Петька сказал: «По-моему, он всё наврал». Они подошли к нему: «Ты наврал? Говори!» Он молчал. Васька толкнул его: «Говори! Сейчас пиздить будем!»

И тогда он побежал. Догнать его было невозможно. Он летел как ветер и, казалось, пробежал сотни километров, когда обессиленный рухнул среди шатров цыганского табора. Нестарая цыганка брызгала на его лицо водой и что-то приговаривала. Он пробыл в таборе до вечера и только с наступлением темноты двинулся домой. Странное чувство не покидало: похоже, в таборе признали его своим, предлагали пожить у них и, может, остаться. В темноте он услышал знакомое всхрапыванье, его жеребец, Командирский, был рядом, дружески тыкался носом в плечо, вместе они в ту ночь добрались до деревни.

После той истории друзья не трогали его и даже ни о чём не припоминали. Может, потому что сами не хотели выглядеть дураками? Но они отделились от него, вели себя так, словно его и нет. Тогда он понял, что всегда будет одинок.

– Куда теперь, спадар Правитель? – орет ему в ухо внезапно пришедший в себя Вартосик.

Как это куда? На «Линию Сталина», конечно! Понял он давно, что должны быть исторические авторитеты у народа. Ну кто там помнит этих Миндовгов и Ягайл, которых подсовывают нашим людям националисты? А вот про Сталина все знают! Для молодых он вообще может быть красивым мифом о великом вожде и большой сильной стране. А уж старые и пожилые – те особенно крепко запомнили ту жизнь. Забылось или померкло все тяжелое, несправедливое, зато осталось в памяти, что жили в большой, уважаемой в мире стране, где был порядок и человек всегда мог заработать на кусок хлеба. И знал, что будет у него пенсия, и предсказуемый завтрашний день, то

есть завтра будет то же, что и сегодня. Не иначе. Поэтому с историей поаккуратнее, господа-товарищи! Что за бредовина – Минск на четвертый день войны сдали? А кто вел бои, кто держал оборону, можно сказать, голыми руками? Потому и приказал Правитель создать под Минском музей «Линия Сталина», чтобы все видели и знали, как сражалась Красная Армия в первые дни войны.

Кортеж Правителя заваливается в крутой вираж и замирает перед «тридцатьчетверкой», на броне которой выведено «За Родину, за Сталина!». Химчук, директор музея, уже тянется в приветствии, ладонь старого служаки подрагивает у седого виска.

– Как сегодня со стрельбами? – спрашивает Правитель, зная ответ.

И точно: готовы и тяжелые пулеметы, и пушка гаубичная и еще что-то...

– Постреляем! – кричит Правитель куда-то в сторону. А над бруствером уже поднимаются зловещие деревянные фигуры. Первым, конечно, Буш, самый фасонистый. Потом Ширак обвисший жиром, и Шредер, раздувшийся от пива, из-за спины которого выглядывает трусливый Блэйр. Этих Правитель косит одной пулеметной очередью, даже жалко, что так быстро они подыхают. Ну вот и второй ряд показывается, это свои негодяи, сам Мирон, разумеется, бывший дружок его Винцук, а рядом либералишки наши – Толян с хулиганской челочкой, Милин, само добродушие и супердемократизм исходят от единого от оппозиции, ну и сурово-принципиальный Каляка-коммуняка, так сказать, примкнувший за компанию.

– Дайте калаша Мирону! – приказывает Правитель.

Химчук рванулся в сторону бруствера.

– Да не тому, кретин! Живому! Пока!

И усмехнулся довольный своей находкой.

Посмотрим, как Мирон поступит со своими. А, впрочем, какие они ему свои? Он ведь тоже одинокий волк, только подыхающий в тоске от безвластия. И ненавидит он их не меньше. Потому и должен сделать дело!

– Неужто по своим будешь? – в смертном забытии голосит Вартосик.

А Мирон уже вполне профессионально вскинул ствол. Первым падает Милин, за ним Толян, Каляка. Винцука вроде на секунду пожалел и тут же свалил.

– А себя чего? На закуску оставил?

Дрожит ствол в руках Мирона, вроде водить им в стороны начинает. Но правительские начеку, держат на мушке бэнээфовского отставного вождя.

– Не дури, Мирон! – ласково говорит Правитель. – Кончай себя! Все равно ты уже конченный!

Закрыв глаза, Мирон нажимает на спуск...

XVI

Гейм проснулся как будто кто-то тронул его за плечо. Сидя на постели в холодной своей комнатке, напитавшейся ночным волглым воздухом, он пытался сообразить, было ли наяву или только привиделось, приснилось ему... Три дня назад, когда он ходил на кладбище... Из перелеска на вершине холма выскочил человек с объемистым кофром, он метнул его в ложбину между кустами орешника, а сам бросился в противоположную сторону. Через минуту раздался выстрел. Гейм залег за ближней могилой, слышал голоса, шум мотора машины. Он позволил себе поднять голову только через час. Он уже знал, для чего выжидал, и ноги сами понесли его к ложбине, где его дожидался кофр. Он открылся легким щелчком замка, и увиденное не потрясло Гейма, ибо чему же там и быть, как не пачкам долларов. Не меньше миллиона, на первый взгляд. Собственно, так и оказалось – десять упаковок по сто тысяч. Он словно знал все наперед, будто уже существовал заранее составленный план и потому двинулся сразу, перебежками и пригнувшись, к кладбищу. Он уже знал, в каком месте оставит кофр – под старым упавшим памятником на могиле какой-то католички (Гейм, бывавший там не раз, запомнил надпись – *Maria Rodziewiczówna z rodu Biernackich*) была выемка. Ее только прикрыть с одной стороны старыми ветками, и получался вполне надежный тайник.

Сидя на краю кровати Гейм мучительно припоминал детали: так ли все было? не бред ли это его бессонницы? Была, конечно, единственная возможность проверить – отправиться к тайнику. Но если там уже ищут? Если его заметят? А, может, уже заметили? Боже мой, ведь по сути оттуда и вынести кофр нельзя – все просматривается, кругом дачи, люди. Кто-то непременно обратит внимание... Значит, ночью? Но это опасно. Мало ли кто встретится? Прикончат и утопят труп в озере.

Нет-нет, сейчас за кофром нельзя, не время, нужно выждать. А эта полька Мария Родзевичувна... Польский след? Или перст указующий?

Гейм с детских лет верил в неслучайность всего происходившего с ним. И в Высшую Опекун над ним, посылающую ему испытания и хранящую одновременно. Да, так вот Польша...

Разве случайно в 1979 году он получил из олыштынского издательства «Pojezierze» предложение о переводе его повести о тайных обществах, существовавших в Гродненской губернии и Белостокской области в первой четверти XIX века? Филоматы, филареты, масоны, друзья Адама Мицкевича, декабристы... Потом приглашение приехать в издательство, утрясти дела по книге. Комитет по печати БССР должен был испрашивать разрешение на командировку для сотрудника белорусского академического издательства в Госкомиздате СССР. Мало того, из Минска в Варшаву нужно было ехать через Москву, потому что там выдавали заграничный паспорт и жалкую сумму в злотых на расходы. Это был еще тот советский идиотизм. Член ООН Белоруссия не могла самостоятельно отправить Гейма в Польшу. И он должен был после беготни по московским кабинетам проезжать через Минск как некий путешественник из глубин России.

– Uważaj, żeby jakaś kurwa ci pienenżki nie skradła, – сказал ему на прощание один давний минский знакомый, старый литератор-поляк.

Предупреждение не было лишним. Да, с польскими курвами требовалось быть осторожным. Гейм рассчитывал получить в Олыштыне приличную сумму. Поляки мог-

ли проигнорировать соглашение между ВААП и ZAIKS и в случае приезда автора в их страну могли рассчитаться с ним сполна, демонстрируя этим и свои возможности и пренебрежение правилами социалистического общежития. По тем же правилам Гейм получил бы жалкие гроши, львиную долю гонорара забирало себе советское государство через тот же ВААП. В общем, была возможность почувствовать себя Крезом. Он вообще впервые был за границей в свои 38 лет. И хотя знал о советской поговорке, что курица не птица, а Польша не заграница, но воспринимал Польшу именно как заграницу с той самой минуты, как польский проводник, зашедший в его купе после того, как поезд отошел от Белорусского вокзала в Москве, сказал: «Pan na razie sam».

Он и ехал один до самой Варшавы. Был конец октября, не сезон, вагон был почти пустой. На Центральном вокзале Варшавы его встретил Зыгмунт, аспирант истфака Белорусского университета, с которым Гейм познакомился, когда тот принес ему в редакцию академического журнала, в котором Гейм работал ответственным секретарем, свою статью. У Зыгмунта приближалась защита диссертации, публикаций же по теме, которые нужно было указать в автореферате, не доставало. А очередь в журнале была немалая. Но все зависело от Гейма, и он помог, поставил статью Зыгмунта в ближайший номер. Естественно, поляк отблагодарил, пригласил остановиться у него в Варшаве. А Гейму очень нужно было на несколько дней остановиться в Варшаве перед тем, как отправиться в Олыштын. Он хотел передать переводчику дополнение к основному тексту повести, ну и, конечно, познакомиться.

Его переводчик Анджей Дравич как раз в эти же дни возвращался в Варшаву после долгого пребывания за границей. Издательство сообщило его адрес, у них завязалась переписка. Дравич писал ему из Мюнхена, Лондона, Канберры, где он преподавал в тамошних университетах. Гейм ничего не знал о своем переводчике, кроме того, что он известный литературный критик и русист. У него был варшавский адрес Дравича, но идти без предварительного звонка представлялось невежливым. И Гейм решил, что

сначала выполнит просьбу своих знакомых из академического Института литературы – передаст несколько научных книг заместителю директора института славяноведения Польской академии наук Бялокозовичу. Славист наверняка знаком с литературным критиком и русистом и, конечно же, знает номер его домашнего телефона, предполагал Гейм.

Гейм поднялся на лифте на шестой этаж Дворца культуры и науки, сталинского подарка полякам, гигантского причудливого торта, который Сартр назвал «изделием сумасшедшего кондитера». Его встретили и проводили в библиотеку, попросив немного подождать, поскольку заместитель директора задерживался. Занимал Гейма разговорами и даже показал несколько имевшихся у них его книг, полагая, что ему это будет приятно, пожилой и учтивый библиотекарь Стефан Шанявский, оказавшийся племянником того самого Шанявского, учредившего в Москве Народный университет, лекции в котором посещал Есенин. Вскоре их позвали. Бялокозович, пухлый, улыбчивый (прибыл молодой ученый из Советского Союза!), был само доброжелательство. Они уже договаривались об ужине в ресторане «Тройка», помещавшемся в этом же сталинском дворце, когда Гейм вспомнил о том, что нужно позвонить Дравичу.

– *Żadnego telefonu Panu nie podam!* – закричал неожиданно побагровевший и до того говоривший с ним по-русски Бялокозович. – *Drawicz jest przyjacielem Sacharowa, Solzenicyna!*

Никакого телефона! Дравич – друг Сахарова и Солженицына! Это был неожиданный удар. Гейм не сразу преодолел растерянность. Но нашелся:

– Дравич – переводчик моей исторической повести о русско-польских революционных связях в первой четверти девятнадцатого столетия. «Общество военных друзей» в Литовском корпусе... Книга выходит в Ольштыне в издательстве «*Pojezierze*».

– Дравич диссидент! Он враг Народной Польши! И это не делает вам чести, что у вас такой переводчик! – продолжал кричать Бялокозович.

Не говоря больше ни слова, Гейм вышел из его кабинета. Выскочивший следом Шанявский был бледен.

– Jak że to niedobrze wyszło! – качал он головой. – Dlaczego pan mi wcześniej nie powiedział o Drawiczu? Oni są wrogі.

Да, в самом деле, очень нехорошо получилось. Нужно было раньше сказать Шанявскому, что его интересует Дравич. Оказывается, они с Бялокозовичем враги. Библиотечка рассказал Гейму, что Дравич, член оппозиционного КОС-КОРа, опубликовал разгромный отзыв о написанном Бялокозовичем учебнике по русской советской литературе. В рецензии, озаглавленной «На дне русистики», отмечалось, что пропагандист советского литературного официоза „не заметил» Булгакова, Ахматову, Пастернака, Платонова... А ведь Бялокозович не просто занимал ответственный пост в академическом институте, но и был человеком близким к партийному руководству Польши. Дравича же за его взгляды и связь с оппозицией изгнали из польских университетов, и он вынужден был принять помощь зарубежной Полонии, стал читать лекции для студентов на Западе.

Конечно, к такому человеку следовало немедленно ехать. Плевать, что Бялокозович не дал ему номера телефона! Сверившись по карте Варшавы, Гейм понял, что Дравич живет на Служеке, там же, где находится и квартира Зыгмунта, у которого он остановился. Когда, проплутав по сложно устроенным отсекам разных подъездов нового большого дома, он, наконец, нажал дверной звонок и стал что-то объяснять путая польские слова с русскими, из-за двери четко послышалось: «Говорите по-русски!» Это была Вера, жена Дравича.

Тогда он, естественно, еще не знал их истории. Искренне веривший в возможность «социализма с человеческим лицом», увлеченный Маяковским и Галчиньским, один из инициаторов студенческого сатирического театра, молодой Анджей приехал в первый раз в Москву в 1957 году, на Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Тогда и повстречался с Верой. Много позже он напишет, что, возможно, в их сближении сказались и судьбы их отцов – у обоих они были репрессированы. Вскоре началось его

увлечение Булгаковым, Платоновым, Мандельштамом... Он приезжал в Советский Союз, встречался с «великими вдовами» – Еленой Сергеевной, Марией Андреевной, Надеждой Яковлевной, с Бродским, с разными диссидентами. А потом подписал протест против введения в польскую конституцию статьи о дружбе ПНР и СССР... Стал активным деятелем поддерживавшего уже гремевшую рабочую «Солидарность» интеллигентского КОС-КОРа... Обо всем этом, вперемешку с рассказом Гейма о встрече с Бялокозовичем, шел разговор уже на кухне у Дравичей, за бутылкой водки и разной вкусной едой, которую они, только что вернувшиеся после длительного пребывания за границей, привезли с собой в полуголодную Польшу.

В Анджея, высокого, с абсолютно голым черепом, Гейм сразу же влюбился. Это был тот случай сочетания импульсивной личности, тонкой культуры и добра, который не мог не притягивать к себе. Зачарованный, Гейм пожирал взглядом стены кабинета Дравича, от потолка до пола уставленные полками с разнообразной «диссидухой». Хозяин между тем метался по квартире, что-то проверял и, наконец, пожаловался, что «убеки» отключили телефон, а ему нужно срочно связаться с друзьями. Гейма осенило: дом, в котором он остановился, здесь же, в Служеве, на соседней улице. Зыгмусь уехал на несколько дней к дяде в Стокгольм, Марыся на суточном дежурстве в больнице, шестилетнего Томека забрала бабка. В общем – можно звонить оттуда. О том, что за Дравичем и его друзьями наверняка велась слежка, что он может крупно подвести Домбека и сам заполучить большие неприятности, подумалось уже потом, ночью, когда ушла нагрывавшаяся на квартиру компания видных диссидентов – Куронь, Михник, Модзелевский. Конечно, далеко не все в разговорах этих антикоммунистов-антисоветчиков было понятно (его польский был тогда на начальном уровне), но то, что это были враги Системы, обсуждавшие свои тайные дела, сомнений не вызывало. Странно, что они не опасались его. Впрочем, диссиденты и в Москве не очень прятались. На московских кухнях болтали буквально обо всем и в открытую. Чего только Гейм в пору своей московской солдатчины

не наслушался на квартире писательницы Инны Густавовны Варламовой, тещи его лучшего друга Юры Гаврилова.

Спустя три дня Дравич вез его из Варшавы в Олыштын. Все сложилось удачно, Анджей хотел отдохнуть в родных местах на Мазурах, ехать можно было через Олыштын, где оба они могли «*zalatwic*» свои дела в издательстве – Гейм как автор, Дравич как переводчик. Гейм читал в машине вышедшую на Западе книжечку Лакшина с ответом на оценки Солженицына редакции «Нового мира» и Твардовского в книге «Бодался теленок с дубом».

– А ведь Лакшин убедителен, – говорил Дравич.

Гейм торопился дочитать книжку, которую нужно было вернуть Анджею. Тем более, что с этой диссидентской книжкой соваться в гостиницу в Олыштыне, он чувствовал это, было небезопасно. Но неожиданно смело повел себя в кабинете директора олыштынского издательства Вакара. Шестидесятилетний историк Вармии и Мазур прервал свою беседу с Дравичем, из которой Гейм мало что понимал, и обратился к нему с вполне понятным предложением:

– *Może, panu jest niewygodne, żeby na tytule książki pana było ukazano imię tłumacza? Pan może mieć z tego nieprzyjemności w kraju. To możemy wydac książką pana z oznaczeniem tłumacza pod pseudonimem.*

Нет-нет! Какой еще псевдоним? Ни коем случае! Что вы? Должно быть указано только подлинное имя переводчика! Автор принципиальный и порядочный человек и потому не боится никаких неприятностей у себя на родине!

Где-то в конце 90-х или начале 2000-х Гейм набредет в польском Интернете на исповедь одного сексота по кличке «Саша», служившего редактором в олыштынском издательстве. Сообщая спецслужбе о настроениях сотрудников в беспокойную пору зарождения «Солидарности», сексот посчитал необходимым особо отметить совместный приезд Дравича и писателя из Белоруссии Гейма, книгу которого, переведенную Дравичем, собираются выпустить в Олыштыне. Рассуждая о том, кто мог дать заработок опальному диссиденту Дравичу, сексот предполагал, что, скорее всего, на это могла решиться главный редактор Светлана Крук. Впрочем, и директора Вакара он считал не без греха.

Протестовал бы Гейм против замены имени Дравича на псевдоним, если бы знал об этом доносе? А тогда, как выяснилось, он совершил просто героический поступок. От человека, приехавшего из «Советов», такая смелость не ожидалась. Дравич сказал об этом Гейму, провожая его в гостиницу.

Может, потому и гонорар заплатили очень приличный. Большие купюры с королями и революционными деятелями составили приличную пачку, которую он засунул в конверт. С конвертом этим была история, сама по себе юмористическая, но и ставшая эпизодом, может быть, главной драмы жизни Гейма.

Из Ольштына он поехал в Краков, не только за впечатлениями от Вавельского замка. Денег было много, хотелось чего-то непонятного. Хотя чего можно было хотеть в тогдашней, не просто бедной – нищей Польше? Но это все-таки была заграница. И соблазнов даже здесь было больше, чем в СССР. В гостинице он попросил молоденькую, как показалось, чуть насмешливо глядевшую на него горничную принести ножницы – ногти отросли. Та принесла, но почему-то не уходила, смотрела, как он неумело пытается совладать с маленькими ножничками, никак не налезавшими на пальцы. Потом присела рядом с ним на кровати, взяла ножнички и аккуратно и быстро сделала то, что не удавалось ему. Он замер от этой близости. Эва – он узнал ее имя – как будто не удивилась, когда он поцеловал ее в шею и расстегнул тесемочки халатика. Она не возражала, когда двинул руку по стройным коленкам и даже разжала их, впустив ко входу в ту пещеру Аладина, близость к которой стала рвать брюки. А когда сказала, что ей нужно в ванную – «на хвилье», подумал что такая молодая, можно сказать, юная и уже опытная. И тут же вспомнил о предупреждении знакомого минского писателя о том, что какая-нибудь «курва» может украсть его «пенёжки». Ну и не придумал ничего лучшего, как засунуть конверт с гонораром за какую-то небольшую картину, висевшую над кроватью.

Эва оказалась девственницей, это потрясло и увеличило страстность Гейма. Старое деревянное ложе раскачивалось

и ударялось о стенку. Висевшая над кроватью картина сдвинулась, и дождь из купюр с королями и революционерами накрыл их.

– To ty od mnie schował? – хохотала Эва.

Он уверял ее, что деньги спрятал раньше, не хотел носить с собой из соображений безопасности. Не было сил выпустить ее из номера, а в голове билось – сколько ей лет? Вдруг несовершеннолетняя – тогда он пропал. А если все это подстроено? Кем? Польскими органами? Дискредитировать его за связь с Дравичем? Но Эва, изумительно доверчивая, приводившая его в трепет своей юностью, своими светлыми глазами, в которых печаль мешалась с непонятной насмешливостью, заставляла отбрасывать эти мысли. Она приходила к нему еще дважды. Еще две потрясающие ночи, вызвавшие у него гордость за себя. Эва не только угадывала все его желания – она разделяла их как собственные, и сама эта гармония, кажется никогда не испытанная им ранее, была чем-то фантастическим.

Спустя два дня он покинул номер, пошел просто побродить по городу. Зашел в Мариацкий костел, а оттуда в православный храм, стоявший на краю Рыночной площади. Неожиданное и горькое ощущение своей греховности заставило его молиться дольше и усерднее обычного. Любимый святой Николай Угодник-Чудотворец в этот раз был суров и не откликнулся на его просьбы.

Опустошенный, Гейм вышел из церкви и почти сразу услышал быстрые шаги за спиной. Его догонял высокий светловолосый юноша с такими же, как у Эвы, одновременно печальными и насмешливыми глазами. Он забежал перед ним, буквально перегородил дорогу.

– Przepraszam... Ale musze zapytac pana! – смущение мешалось в нем с твердой решительностью.

Студент философского факультета Краковского университета Адам извинялся, но все-таки должен спросить его, поскольку был не просто братом Эвы – ее опекуном. Так постановил суд четыре года назад после гибели их родителей в автомобильной аварии. Адам был старше ее на восемь лет, прошел службу на военном флоте, работал авто-

механиком, много читал. Особенно увлекся философской литературой. И вот сейчас он заканчивает университет. Отношения с сестрой в последнее время усложнились. Ей недавно исполнилось восемнадцать. Может быть, он недостаточно уделял ей внимания. Но ведь наряду с учебой в университете он должен был подрабатывать в автомастерской. А Эва как пошла после школы работать в отель, так ни о какой дальнейшей учебе и думать не желает. Хотя способности у нее прекрасные. Вот они и стали ссориться. Два дня назад во время ссоры она заявила, что у нее теперь есть настоящий друг, взрослый мужчина.

Все это Гейм неким конспектом услышал чуть позже. А пока требовалось ответить на единственный вопрос: было ли у него с сестрой Адама?

В «Венской кавярне» на Рынке Гейм рассказал, как все произошло. Потом были еще, кажется, две или три кавярни. Потом они оказались в номере у Гейма. Адам повернулся и стянул рубашку. Спина была в синих полосах и кровоподтеках. «То ZOMO», – сказал он. ZOMO – это был польский спецназ, беспощадно расправлявшийся с участниками митингов и демонстраций в поддержку «Солидарности». Они уже давно говорили не об Эве, а о том, что творилось в Польше. И Гейм – нет, совсем не под воздействием выпитой «Выборовой», а с неподдельной ненавистью стал высказываться о коммунистическом режиме в Советском Союзе. Глаза Адама расширились, он смотрел на Гейма как замороженный. И, наконец, на прерывистом выдохе спросил:

– Ile takich ludzi jak pan w Związku Radzieckim?

А кто считал, сколько таких людей в СССР? Это была достаточно типичная польская реакция. В Советском Союзе полагалось быть только одним твердолобым коммунистам. И вот приезжает человек *оттуда* и *такие* речи, такое сочувствие борьбе поляков за свои права.

Уже под утро, прощаясь, Адам сказал как о чем-то уже решенном совместно, что через день он с Эвой едет в Нову Гуту и Гейм должен поехать с ними. Там будет мша с ксендзом Попелушко. Это был ксендз, защищавший польских рабочих. Через несколько лет его убьют сотрудники

спецслужбы, и это станет трагедией для всей антикоммунистической Польши.

Костел в Новой Гуте оказался модернистской постройкой недавних лет. В самом центре абсолютно пустого пространства от пола вздымался, устремлялся в небесную высь гигантский деревянный крест-распятие. Вдоль стен венки, букеты цветов, ленты с надписями, проклинаяшими жестокость властей и выражавшими скорбь и солидарность с пострадавшими во время столкновений с полицией. Адам перехватил недоуменный взгляд Гейма и сказал уверенно:

– Oni tu nie wejda.

Они – это полиция. И Гейм подумал в который раз, какая все-таки своеобразная страна Польша. Костел заполнен антигосударственными надписями, а полиция не смеет в него войти. У нас бы...

Молодой, с худым интеллигентным лицом ксендз Попелушко во время проповеди говорил о жестокости власти и трудной доле народа. Люди слушали его коленопреклоненно, и Гейм тоже опустился на одно колено. Он чувствовал себя поляком. Он хотел быть поляком. Потому что чувство единства с коленопреклоненными людьми было пронзительным и окрыляющим. Этого не было с ним никогда в православных храмах. Там каждый был сам по себе.

Адам шептал ему на ухо: он поговорит с ксендзом и завтра утром они придут к нему на исповедь.

– Ty musish spowiadac sie!

Он должен исповедаться. Но с какой стати? Он не может! Он православный!

Адам был непреклонен.

– Pan jeden dla wszystkich.

Да, конечно, Господь один для всех. Но Гейм знал, для чего ему нужна эта исповедь. Это будет обязательство перед Эвой. Он покается и обещает. Иначе не будет ему прощения. Но ведь он любит свою жену, свою Пенелопу-Эвридику и десятилетнего сына. Он не оставит их. Но Эву, печальную и чуть-чуть насмешливую, он тоже любит.

Ранним утром следующего дня – семичасовым поездом – он уехал, по сути удрал, сбежал из Кракова в Варшаву.

XVII

Дела у старшего научного сотрудника академического Института теплофизики Виталия Лавкунова были не просто плохи – ужасающи. И в это время он в особенности стал много времени проводить в казино. После запрета на деятельность казино в Москве – лужковский игорный бизнес хлынул в Беларусь. Правителю нужны были деньги. Если будут хорошо отстегивать – пускай играют! В одном Минске работало более шестидесяти казино, в том числе супершикарные. Из них можно было не выходить сутками – все было в этих усиленно охраняемых комплексах: рестораны, отели, бассейны и сауны, разумеется, строго отобранные спецслужбой проститутки. Лоснящийся чистой почти имперский Минск (гранитная отделка бульваров, провисающие кованые цепи между тумбами, бывший Сталинский, затем Ленинский, потом Скорины и, наконец, проспект Независимости, Его Независимости, – эта белорусская Унтер ден Линден) уже давно стал излюбленным городом для встреч самых темных и влиятельных дельцов как из России, так и из западных стран. На окраинах города выросли своеобразные сэттльменты из вилл, соединявшихся между собой мощными заборами и воротами. Виллы были утыканы разнообразными антеннами и камерами слежения. В районе бывшего Сельхозпоселка оборудовали летно-посадочную полосу, на которой приземлялись небольшие частные самолеты. Это было удобно. Зачем деловому человеку лететь в Москву, торчать в пробках по дороге из аэропорта в центр, когда в Минске всё без проблем – и лететь недалеко, чартеры совершались регулярно, и никаких пробок, и любые удовольствия. Довольно быстро Минск стал в глазах тех же темных и влиятельных дельцов надежным центром для сделок, в которых преобладали наркотики, оружие, валютные операции, торговля живым товаром. Симпатичные стройные юные белоруски, свежая грудь которых призывно влекла сквозь тонкую просвечивавшую льняную ткань, были в особой цене у западных секстуристов.

Виталий был знаком с некоторыми из обитателей этих закрытых окраинных вилл. Знакомства свел в казино, откуда буквально не вылезал в последние годы. Цепочка началась с Ахмеда. Чуть выше среднего роста, прекрасно сложенный араб после неслабой выпивки в казино «Bergamo» повез его куда-то к себе. Там тоже пили. Кажется, был еще какой-то араб. Первым ощущением после того, как он проснулся в незнакомой комнате, обитой тканью с затейливым восточным орнаментом, было болезненное ощущение в заднем проходе. Его отымали эти черножопые обезьяны! Он заметался по комнате, заметил на столе что-то вроде ежедневника с надписью вверху на каждом листе – «Посольство Организации Освобождения Палестины». Ни хрена себе! Но это ведь автономия! Он точно знал, что на Тростенецкой улице есть посольство Израиля в Беларуси. Как-то отец познакомил его с израильским послом, и они были у него на приеме в квартире под сто пятьдесят кубарей в «депутатском доме» на Сторожевке. Посол, маленький и глуповато-самодовольный мужик, возмущался, как это мог Правитель позволить себе сказать публично, что евреи превратили Бобруйск в свинарник. Вот в Израиле у них чистота! А свой же Бобруйск ну просто загадили перед тем как свалить на историческую родину. И вот нынешним властям белорусским пришлось буквально драить Бобруйск, очищая его от жидовской (это, безусловно, имелось ввиду) грязи. Посол советовался насчет демонстративного отъезда. Виталий, налакавшийся дарового виски, хлопал его по плечу и советовал не поднимать кипеж, пока его самого не уволокла в какой-то дальний кабинетик дебелая и немного косоглазая посольская сотрудница Эмма Мейштович. При этом почему-то бормотала про праздник кущей. Под юбкой у нее ничего не было, но ему мешала мысль, что у евреек всё устроено как-то иначе. Он долго ковырялся в каких-то складках и когда наконец устремился в эту космическую бездну, на пороге возник второй секретарь, щуплый дядька в огромных очках, за которыми бушевал ужас.

– Вот, – сказал Виталий, – отмечаем... закрепляем... белорусско-еврейскую дружбу... со времен Авраама, так сказать...

А Эмме понравилось, она шептала на ухо про его большой и прекрасный, и получалось, что израильские мужики вроде как обделены. Нет, он слышал, что у восточных эта суперважная вещь несколько меньше, но какая-то историческая несправедливость была за этим фактом. Все-таки родоначальники человечества. И уже за кофе она как вполне своего спросила его как бы между прочим, знал ли он физика из их института Голдберга. Ха-ха! Знал ли он Аркадия Львовича? Да он работал в его лаборатории два года и с какими трудами добился перевода в отдел к Нестеровичу. Нет, физиком Голдберг был от Бога. Вообще физика это еврейское дело, нужно признать. Но ведь человек Аркадий Львович был несносный, суперподозрительный и по этой причине чрезвычайно склочный. Но и смелый! С самим академиком Никоновским, действительным членом не только республиканской, но и всесоюзной Академии, сцепился из-за открытия в области прикладной спектроскопии. А дело шло о Государственной премии СССР. Конечно, у Никоновского были связи мощнейшие и в Минске и в Москве. Но у Голдберга имелись очень серьезные аргументы – публикации в «ЖЭТФ» и другие работы, получившие известность за рубежом. Образовались два противоборствовавших лагеря. Победил, конечно, Никоновский.

Аркадий Львович с той поры вообще остервенел. А потом, перед самым развалом Союза, пошли слухи, что он готовится к отъезду в Израиль. Ну и сделали ему то ли антисемиты, то ли КГБ, чтобы секреты государственные не увез. В общем, разлили перед входной дверью квартиры, находившейся в элитном доме на проспекте Скорины и именовавшемся в народе «Синтетикой» (по названию растянувшегося на весь первый этаж магазина), что-то супергорючее. Жена Аркадия Львовича Бэлла Семеновна, учуяв горелое, открыла дверь, и пламя, а уже натекло и внутрь, ринулось в квартиру. И тогда Бэлла Семеновна совершила самое ужасное, она распахнула окно во двор и стала звать на помощь. Образовалась страшная огненная аэродинамическая труба, мгновенно втянувшая в себя мебель, книги, гардины. А уж синтетика само собой...

Столб огня перекрыл доступ к входной двери, через которую можно было выскочить на лестничную площадку. Аркадий Львович успел вытолкать на балкон семнадцатилетнего сына Вадима, только что закончившего школу, а сам почему-то попытался выбраться через окно и рухнул замертво с девятого этажа. Бэлла Семеновна задохнулась в дыму и огне. Уцелел только мальчик Вадим.

Трагедия эта наделала много шума в Минске. Но в печать, несмотря на ширившуюся уже гласность, ничего не проникло. Хотя прошло с той поры немало лет, в израильском посольстве знали об этой истории. Тогда, на приеме у посла, Эмма дальше не пошла, но во время одной из последующих встреч на даче, пройдясь полуголой по кабинету академика Лавкунова, спросила:

– А дед твой тоже хорошо знал Голдберга?

Вот суки, подумал Виталий, точно что-то надыбали и вот копают напрямки без стыда и зазрения. Но тут же и зарубил Эммку:

– Это тебя «Шин Бет» ко мне подслала?

Эмму стало корчить то ли от презрения к нему, то ли от смеха.

– Это все, что ты знаешь про наши спецслужбы? А не допускаешь, что я и в ЦРУ служу и еще в белорусский КГБ кое-что сливаю?

И уже серьезно:

– Мы знаем, что Голдберг консультировался у твоего деда в связи с расчетами по миниколлайдеру. Проект «Черная Дыра», к которому как будто и профессор Гончарик имел отношение.

Виталия тогда хорошо потрянуло. А она сразу пошла в атаку, достала бумаги и показала почти оформленный на его имя счет в тель-авивском банке «Леуми». Оставалось вписать его паспортные данные и сумму. Тогда он понял, что евреи это величайшие скупцы. Отдать документы по миниколлайдеру за пятьсот тысяч баксов? А в десять раз больше не хотите? Ведь у Гончарика были не только документы, но и опытная модель «Сокрушителя Земли». Так в инструкции к модели именовался миниколлайдер. И все это досталось ему, Виталию, не за просто так. Цена

оказалась дорогая – жизнь Гончарика. Хотя он, собственно, не виноват.

Он долго убеждал, Андрея Михайловича, что тот обязан поделиться с ним разработками деда. Гончарик был хмур, неразговорчив. А когда разговор касался Голдберга и Рейника, вообще умолкал. Виталий буквально не давал ему прохода. Являлся без приглашения на дачу. Набивался на совместные прогулки вдоль озера. Из-за этого Гончарик перестал ходить по нормальной дороге в сторону спорткомплекса. Он выбрал неудобный туристский маршрут – узкую тропу у края выходившего к озеру леса, то вздымавшуюся на достаточно крутые возвышенности, то опускавшуюся в полузатопленные низины, в которых мокли стволы поваленных ветрами деревьев. Виталий караулил выходы Гончарика, и однажды навязался в такую неудобную прогулку. Тропа была узкая, приходилось идти за спиной профессора и разговаривать было не с руки, вроде как в спину обращаться. Поэтому, когда взобрались на обрыв и остановились отдышаться, Виталий сразу возобновил свою атаку. Гончарик хотел пройти дальше от обрыва, ему хотелось отдохнуть и усестся на сложенные туристами у кострища бревна. Он устал. А Виталий, в это утро раздраженный и даже злой, стал загоразживать ему проход и невольно потеснил к краю обрыва.

– Что вы себе позволяете? – крикнул профессор, чуть отойдя назад, оступился и рухнул в сырой низинный проем.

Виталий спустился к нему. Профессор был мертв, он ударился головой о торчавшую корягу. Бревна расступились от удара тела, но тут же начали смыкаться над ним, и вскоре на поверхности торчала только профессорская рука.

Ночью Виталий побывал на даче Гончарика. Благо, была суббота и его жена уехала в город. В стоявшем в кабинете шкафу он обнаружил обернутую полиэтиленовой пленкой толстую папку надписью «Миниколлайдер», в ней были документы, расчеты, схемы. Но главный сюрприз был спрятан под столом в выемке под крышкой. В обычной коробке из-под обуви была рабочая модель миниколлайдера.

Закрытый металлический прямоугольный ящик толщиной не более пятнадцати сантиметров и длиной около двадцати, с несколькими датчиками и пусковым механизмом.

Все это, папку и коробку, он спрятал в тайнике на своем дачном участке, под теплицей там была вырыта яма накрытая шифером, он углубил ее и сделал еще одно перекрытие из рубероида.

Если Эмма интересовалась только документами, выходит, она ничего не знала о готовом миниколлайдере. И никто, скорее всего, не знал. Поэтому Виталий сказал ей, что документы отца, возможно, находятся в составе его архива, еще не разобранного и хранящегося в институте. И надо будет попросить надежных людей посмотреть, за что, разумеется, придется заплатить. Ну и на даче, вполне возможно, кое-что осталось, тоже следует покопаться. Но особое удовольствие, конечно, заключалось в том, что Эмма с их хваленной «Шин Бет» знала только боковую сторону дела. Да, Голдберг консультировался с его дедом, покойным академиком Лавкуновым, по поводу расчетов в связи с проектом «Черная Дыра», Голдбергу нужны были деньги для отъезда в Израиль, а заплатить обещал основной разработчик профессор Гончарик, положивший в основу проекта идеи академика Рейника и практические разработки академика Лавкунова.. Этому еврейские умники не знали, Голдберга на чем-то подловили, а дальше у них не поперло. Виталий понял, что цену можно накручивать. Но когда оказался в особняке у палестинцев, вдруг дошло, что это не случайно.

– Это ты меня? – возрился он злобно на Ахмеда.

– Ну, ты совсем дурак, – засмеялся палестинец. – Совсем не замечаешь, что наш Гурам давно на тебя поглядывает.

Толстый жирногубый Гурам был охранником представительства, сидел в будке у входа в особняк, напоминавший маленькую крепость, и вечно что-то жевал, но сильно напрягался, когда кто-то из прохожих задерживался у диппредставительства и долго читал доску на фасаде, разглядывал флаг. Тогда он высказывал из будки и недобро-вопросительно упирался в лицо прохожего.

– Пойду набью ему морду!

– Это после того, как вы полночи хлестали виски и обнимались? Гурам даже кое-что снял на память. Хочешь посмотреть? Станные вы люди белорусы...

– Я русский.

– Все это херня. Арабы с евреями тоже родня. Не знал?

И тут вошла улыбчивая и косящая куда-то под живот самой себе Эммочка – живое подтверждение еврейско-арабского родства.

– Не нужно так мучиться, Виталик, – сказала она. – Документы отдашь Виктору Владимировичу Гейму, писателю, твоему соседу по даче. И мы сразу сделаем перечисление в банк «Леуми».

Это что еще? И этот угрюмый и неутолимый ходок по прибрежной дороге, наверняка возомнивший о себе литературный гений, тоже с ними?

– У него рак, – сообщила с неподдельной грустью Эмма. – Есть договоренность об операции в Израиле. Он делает все, что нужно.

XVIII

Слегка напоминающий вальяжного барина профессор Ключкий, лет пятнадцать совмещавший заведование кафедрой урологии в Белорусском медицинском университете с консультированием в частном центре «Санте», на вопрос Гейма, может ли хронический простатит перерасти в рак, рубанул не оставлявшее сомнений «нет». Такая психотерапия полагалась. А между тем ПСА, перешагнув норму, подрастал, и уже давно нужно было делать биопсию, а профессор все тянул – ну еще через три месяца повторим анализ. Но когда очередной результат в два раза превысил норму, он побледнел и выдал – «к онкологу».

– А что вы так побледнели, Захар Дмитриевич? – спросил скорее от пришедшего ощущения безнадежности Гейм.

– Ну все-таки... столько лет знакомы, – бормотал профессор, выпроваживая его к двери.

Онколог городского центра Ираида Михайловна Ма-

сальчик тянула с назначением биопсии, потом до Гейма дошло, что нужно было «дать». Были очевидные признаки, что Ираида Михайловна жаждала очень конкретной благодарности. Диагноз затягивался, а когда наконец Гейму в стационаре сделали полагающуюся процедуру и отправили «материал» на морфологическое заключение, наступило полное нервного напряжения ожидание. Спустя несколько дней заведующим Игорь Леонидович Рожанский, молодой, интеллигентный, благожелательный, во время зашедшего в палату большого обхода во главе с профессором Мрочеком, выглядывая из-за профессорской спины, нерешительно пробормотал: «Ну в общем... нашли плохие клетки...» Это была щадящая информация: не рак, не онкология, а «плохие клетки».

Еще было сказано, что вторая стадия, хотя на самом деле была третья. Наилучшее и кардинальное решение – операция. Облучение, гормоны, химиотерапия – это не с вашим оперированным после двух инфарктов сердцем и не с вашим язвенным колитом. Но и полостную операцию вам не выдержать. Лучше всего – лапароскопия, но у нас ее не делают.

Гейм погрузился в пучины интернета. Израиль – это невыносимая для его сердца жара. Соображение существенное, тем более, что доктор медицины Иванов от имени посреднической фирмы в Дортмунде откликнулся очень оперативно. Лапароскопическая операция через две недели в клинике святой Барбары профессора Планца. 16 тысяч евро за десять дней пребывания, вип-палата, переводчик, встреча-проводы и проч. Гейм связался с сыном Сашей, уже 15 лет как уехавшим в Германию и работавшим там анестезиологом-реаниматологом.

«Отец, – написал Саша, – не клюй на эту дурь. Посредники рвут завышенные бабки». И тут выяснилось, что Саша знаком с Планцем, года два назад погружал в наркоз его жену, оперировавшуюся в дюссельдорфской клинике. Планц заверил, что без посредников цена будет значительно ниже и назначил день операции.

Маленький, уютный, чистенький немецкий городок под Дюссельдорфом. И сверкающая клиника Санта-Барбара

в старинном здании. И вип-палата с кроватью, крутящейся на все лады.

Гейм спустя четыре дня после операции вышел на открытую в сад, всю в цветах площадку второго этажа. Немцы, пожилые и молодые, в халатах сидели и полулежали в креслах, пахло хорошим кофе и хорошими сигаретами. Он только что удобно устроился в дальнем конце с каким-то журналом, когда подошла маленькая медсестра, индийка Лала.

– Вас тут спрашивают, – сказала она на плохом английском. – Не доктор, пришла молодая женщина.

А у входа на площадку ему уже улыбалась Кристина. Его польская дочь. Боже мой! Двадцать восемь лет, а уже трое детей и замечательный муж, симпатичный американец Джон, владелец фирмы, занимающейся информационными технологиями. Эва, это промелькнувшее краковское счастье, вместе со своим мужем – повторилась трагедия ее родителей – погибла в автомобильной аварии, когда ее дочери от Гейма было всего шесть лет. Замуж Эва вышла, когда Кристине было три года, за бывшего много старше ее профессора-математика университета в Познани. Ее брат Адам стал ксендзом. Кристину воспитала и вырастила тетка. Гейм навещал дочь изредка, во время нечастых наездов в Польшу. Но когда в конце девяностых ему предложили работу в Варшавском университете и он три года жил в Польше, они виделись постоянно. Кристина училась на полонистике, и тогда же познакомилась с молодым американским бизнесменом Джоном. Вместе они приходили к нему на Повисле, на улицу Кручковского. И уже втроем они ходили то в Лазенки, то в противоположную сторону, в буквально сошедший со старых гравюр Мариенштадт, сидели в кафешках на Старом Мясте. Иногда Джон возил их в свой офис в Константине, престижном пригороде Варшавы. Тогда он только раскручивал свой бизнес в Восточной Европе, а сейчас уже имеет четыре филиала только в Польше. В Константине у них шикарная вилла, и они давно зовут Гейма переехать из безнадежной Беларуси в набирающую европейского лоска Польшу. И он бы давно переехал. Но упирается, бережет свою суверенность Пене-

лопа-Эвридика. Но насколько ее хватит, когда придется оставить работу в университете и жить на одну пенсию?

Они с Кристиной говорили по-польски. И старшие внуки, Влодек и Томек, и пятилетняя Агнешка, слава Богу, были здоровы. Прилетев в Дюссельдорф, она сразу позвонила Саше на работу, в клинику. У него было дежурство, и он предложил поехать к отцу вместе на следующий день на его машине. Но она не захотела ждать. И вот примчалась, молодая, красивая, беспокойная. Среди расспросов и рассказов у нее неожиданно промелькнуло, что Гейма разыскивал некто Анджей Губец. Звонил ей, интересовался здоровьем...

Это был давний знакомый Гейма. Бывший первый секретарь польского посольства в Беларуси, как и следовало ожидать, оказался кадровым сотрудником польской разведки. Когда Гейм жил в Варшаве, Губец регулярно навещал его на Повисле. Гейм тогда только обжился на Кручковского, в маленькой двухкомнатной квартирке, которую ему сдала пожилая пара пенсионеров, имевшая второе жилье на Мокотове. Образовалась небольшая техническая проблема – нужно было перенести в комнату, где стоял компьютер, розетку поближе к письменному столу. Гейм спросил у Губца, к кому бы стоило обратиться за помощью, и тут же услышал, что никого просить не нужно, что он сам для него сделает все, что нужно. На другой день Анджей, молодой жгучий брюнет, что называется, писанный красавец, явился к нему в новеньком и показавшемся Гейму каким-то особо модным комбинезоне с многочисленными карманами. В руках аккуратный саквояжик. Ни дать ни взять профессиональный электрик.

Пока Гейм готовил какое-то угощение на кухне, Анджей успел протянуть провод и поставить новую розетку. Четко, профессионально. Гейм даже немного удивился. Об этой четкости и профессионализме он вспомнил спустя полгода, когда Анджей во время очередного визита на его квартиру на Кручковского неясно пробормотал, что вот, мол, хорошо бы было, если бы он, Гейм, изредка давал ему свои обзоры по ситуации в Беларуси. Гейм писал иногда статейки о белорусских делах в газету «Rzeczpospolita», что-

то посылал в парижскую «Русскую мысль». Обе редакции оформили на него бесплатную подписку, и он регулярно получал газеты. Анджей брал у него «Русскую мысль». Делая свое неясное предложение насчет обзоров, он даже нечто пробормотал о возможной оплате. Гейм сделал вид, что пропустил это бормотание мимо ушей. Тем более, что упомянуты были какие-то копейки. Вроде сотня злотых... Обнаружить подслушивающее устройство в установленной Анджеем розетке не составило труда. Сначала он решил, что не будет вынимать его. Пускай слушают. Он в квартире один. Но спустя несколько дней подумал, что у него все-таки бывают иногда разные люди – журналисты, коллеги по университету, знакомые, Кристина с Джоном приходят, да и Пенелопа-Эвридика довольно регулярно приезжает. Устройство было удалено, Анджее не было сказано ни слова, их нечастые контакты продолжались.

XIX

Потом... Что было потом? Через год с лишним Гейм попал со вторым инфарктом в кардиологическую клинику на Спартаньской. Это было второе серьезное испытание после 1994 года, когда он с тяжелым сердечным приступом попал в минскую первую больницу. Там определили инфаркт боковой стенки. Спустя семь лет – уже в Варшаве – пришел второй. А еще через десять – рак. И операция в немецкой клинике. Бог посылал ему испытания. И в то же время он знал, Бог не будет торопиться призвать его к себе, что он продлит его страдания. Такая была почему-то уверенность. Кто-то охранял его и в мучениях. Неведомый ангел?

Минский инфаркт запомнился жуткой, резкой болью меж лопаток и тем, что долго не ехала «скорая». Марина в ту ночь осталась с ним в клинике. Все было как в тумане и ничего не было поначалу понятно – что с ним. Но тот проклятый варшавский день, 5 февраля, он запомнил в деталях. Было ветрено, шел мелкий колючий снег. Гейм чувствовал себя с утра неважно, как-то мутно и беспокой-

но. Такое вроде и раньше с ним бывало. Но нужно было в университет. Он уже год как читал там лекции по восточнославянской компаративистике. И хотя в тот день занятий не было, ему нужно было получить в ректорате переданные из Минска материалы. Одну остановку в гору по Тамка, он обычно проезжал автобусом, а тут решил пойти низом, через Топель и вверх по крутым ступеням холма, которые выводили прямо к Казимежовскому палацу, где размещался ректорат. Выйдя на свою улицу Кручковского, он пересек вздымавшуюся в гору Тамка и побрел по Топель. Слева обозначился крутой холм, на вершину которого вела извилистая лестница. Он знал, что она упирается в небольшой проход в ограде, ведущий в тылы Варшавского университета. Уже начав подъем, он понял, что совершает ошибку: в груди начало поначалу не очень сильно, но достаточно ощутимо давить, и еще появилась какая-то слабость. Мелькнула мысль: вернуться. Но он всегда всё делал наоборот, он был первейший враг самому себе и потому продолжил путь. Ближе к середине лестницы он обернулся, внизу блистала широченная лента Вислы, виднелись арки нового подвесного Свентокшиского моста, перед которыми сгрудились разноцветные дома Повисле. Сеть парков тянулась вправо до Лазенок. А слева затягивал своей отреставрированной после войны средневековой мрачноватой стариной Мариенштадт.

Во дворе университета Гейм как будто отдышался, но войдя в вестибюль Казимежовского дворца, понял, что ему придется подниматься на третий этаж по довольно высоким и продолжительным маршам, и это напугало и ухудшило его состояние. Навстречу ему спускалась пани ректор, грузная женщина с портфелем. Гейм неловко поклонился ей и почему-то обратил внимание на ее стоптанные туфли на широком каблуке. Наверное, больные ноги.

Кто и с какими словами передал ему пакет, он не запомнил. Перед университетской брамой, выходящей на Краковское предместье, его стало пошатывать. Только сев в автобус, он понял, что этот номер не повернет направо и не пойдет по Аллеям Ерозолимским в сторону Маршалковской. Гейм вышел на пляже де Голля и вместо того,

чтобы сделать пересадку, побрел пешком – две длинные остановки – к ротонде банка WKB, у которой была назначена встреча с Сашей Голдман и ее сестрой. Ждать снаружи не было сил, и он вошел внутрь ротонды, но прежде чем неуверенно сесть в кресло, взглянул в зеркальную стену. Там отразилось лицо невероятной бледности и с испугом в глазах. Его прошиб холодный пот и страх близкой смерти. Неужели второй инфаркт? Опытный инфарктник в санатории «Криница» говорил ему, что второй обязательно приходит после первого в среднем лет через пять. А Гейм протянул уже семь. Но этот инфаркт – если все было именно так – был непохож на первый. Тот, семилетней давности, был ножом между лопаток, а этот – с холодным потом, жутким страхом и пока терпимой болью в груди. Строгая и прямая как сосна, пани Бланка, кардиолог, у которой он наблюдался, несколько раз повторяла: «Пан ест zagrożоны». И вот она сбылась, эта угроза? Уже случайно встретившись с ним в клинике, где его должны были оперировать, она сказала: «A co ja movila panu?» Да, она предупреждала, мудрая и опытная пани Бланка. Но куда попрешь против судьбы? Не случайно, наверное, польски инфаркт – *zawał*. Действительно, валится человек, валит его нечто жуткое.

Саша и Света будут ждать его снаружи, поэтому Гейм заставил себя выйти из ротонды. Он сразу увидел их, пробормотал, что плохо с сердцем и вместе с ними сел в подвернувшееся такси, сказав везти в больницу на Солец, в которой уже лежал с приступом стенокардии, рядом с домом на Повисле. Человека с подозрением на инфаркт положено вносить в приемный покой в кресле. Но это если на «скорой помощи». Гейм дошел до окошка дежурной сестры сам. Ждать пришлось минут пятнадцать-двадцать. Но как только сделали электрокардиограмму, а потом получили анализ крови на ферменты, вокруг него началась беготня. Он пожаловался на боль в груди. Склонившаяся над ним немолодая врачиха с казавшимся усталым и, может, оттого расплывавшимся лицом сказала, что дело плохо. У них обычная городская больница, а помочь ему могут только в специальной кардиологической клинике. Но есть

ли там места? Нужно звонить. Может, сыграло роль то обстоятельство, что у него было при себе аккредитационное удостоверение польского МИДа, но место нашлось. Перед тем, как его потащили на носилках в санитарную машину, Гейм успел попросить Сашу Голдман позвонить в Минск Марине, но так, чтобы не напугать ее.

Саша была умная молоденькая белоруска, минчанка, прекрасно знавшая не только польский, но и английский, она вышла замуж за работавшего в Варшаве англичанина с взрывным характером Питера и уже года три как жила в польской столице. Гейм подружился с ними, бывал у них в гостях на Пенькной, они приезжали к нему на Кручковского, ходили вместе в кафе, в кино. Питер был хмуроват и нередко раздражен, а с Сашей у Гейма сложились настоящие дружеские отношения. Он знал: Саша найдет нужные слова, встретит Марину, будет опекать ее.

Взели долго. Краем глаза, когда вносили в большое многоэтажное здание, он успел зацепить часть вывески – «Клиника сосудистых болезней». Так это улица Спартаньска! Кажется, он был здесь больше года назад, когда по настоянию пани Бланки прошел первую коронарографию. Почему-то пришлось съездить в Отвоцк, городок под Варшавой, там оформили все документы, взяли оплату и повезли вроде сюда, на Спартаньску. Почему нельзя было сразу все оформить здесь – непонятно. Он ехал в электричке в Отвоцк и припоминал. Ведь здесь жил и умер перед войной Дмитрий Философов, интимный друг Зинаиды Гиппиус и Дмитрия Мережковского. Критик, эстет, один из ведущих деятелей савинковского «Комитета борьбы за свободную Россию», редактор антибольшевистской газеты «За свободу!». Как тяжело они с Михаилом Арцыбашевым переживали переход Савинкова на сторону большевиков в 1924 г., после того, как Борис Викторович так глупо попал в их ловушку в Минске. И как оба громили его предательство в своей газете...

Коронарография – исследование сосудов сердца с помощью введения в них через зонд красящего вещества – дает не только полную картину их состояния, но и позволяет поставить стенты в местах, где они сужены и блокируют

кровообращение. Вовремя и умело поставленный стент может спасти человека от начавшего развиваться инфаркта. Тогда, год назад, он спустя два или три дня после этой процедуры попал с приступом (начал по дурости после выписки заниматься зарядкой с легкими отягощениями) в ту самую больницу на Солец, недалеко от своего дома на Кручковского. Оттуда позвонил врачу, проводившему ее на Спартаньской, и услышал, что стент ему поставить нельзя по причине суженности мелких сосудов. Поэтому остается только медикаментозное лечение. Доктор Шиманьский, доброжелательный человек, порекомендовал взять у них снятый во время процедуры фильм, чтобы показать минским кардиологам. Гейм взял эту коробку с пленкой, но никто ее не смотрел.

И сейчас его сразу же потащили на коронарографию. Доктора Шиманьского не было, вероятно, не его смена, Павлом занялись два высоких, совсем молодых человека – Михал и Артур. Особенно внимателен и предупредителен был Михал. Гейм лежа и с уже введенным зондом смотрел на большой экран на стене, где было видно, как краситель заполняет сосуды сердца. Там, где сужение или вообще перекрыт ток крови, сосуд остается незакрашенным. Картина четкая, всё фиксируется на компьютере, потом врач просматривает эту съёмку и делаются соответствующие выводы. Он думал, что если рвануло в мелких сосудах, то и сейчас стент не смогут поставить. Так оно и оказалось. Кажется, Михал и Артур провозились с ним достаточно много времени, часа два не меньше. Они предприняли несколько попыток сделать ему ангиопластику, но все было напрасно. Не нашлось стентов необходимого диаметра для пораженного узкого сосуда. А может, и не было таких стентов вообще.

- Nie udało się, - с разочарованием сказал Михал. - Polecam panu zostac u nas i zrobic by passes.

В Польше не употребляли термина «шунтирование». Только, как в Европе, байпасы (bypass) – английское выражение, обозначающее операцию на открытом сердце в обход пораженного участка и с использованием для этой цели части вены, взятой из ноги или руки пациента, что

позволяло организовать кровоток в обход омертвевшего участка сердечной мышцы. Это был единственный выход в его случае, и Гейм дал согласие. Хотя и чувствовал себя неуверенно. Спустя несколько дней, уже после реанимационной и находясь в общей палате в ожидании операции, он поделился с одним поляком из соседней палаты, где находились уже прошедшие шунтирование, своими сомнениями насчет необходимости такой опасной операции как вскрытие грудной клетки и манипуляций с сердцем. Высокий плотный мужик со схваченной широким биндажом грудью отмел все сомнения. Нужно делать.

XX

Делать! Месяца через три после операции Гейм у себя в варшавской квартире на каком-то британском научно-популярном телеканале увидел фильм про то, как делаются эти самые байпасы. Если бы это показали ему до операции, ни за что не согласился бы. Может, артист Евгений Евстигнеев и умер в Лондоне от страха, когда накануне подобной операции хирург показал ему в рисунках, что будут делать с его сердцем.

Вообще это своего рода зверство. Операция может длиться от трех до пяти часов. Работают две бригады кардиохирургов. Одна распиливает – разумеется, специальной пилой – грудную клетку. В образовавшийся проем вставляют в виде прямоугольника нечто похожее на слесарные трубины, которые закрепляют то ли винтами, то ли зажимами. Хирург погружает руку в этот проем и извлекает сердце у пациента, подключенного к аппаратам искусственного кровообращения и вентиляции легких. В это время другая бригада извлекает кусок вены из ноги, который должен послужить новым сосудом в обходе заблокированной части сердечной мышцы. Любой другой, «неродной элемент» может быть отторгнутым. Короче, фильм был кошмарный. Но скольким людям продлили жизнь эти самые байпассы!

Гейму недели две пришлось ждать очереди, в которую не спешил вставить его холодный и очень вежливый пожилой доктор Збигнев, приходивший в палату и выяснявший, сможет ли он оплатить операцию. Страховка у Гейма имелась, но была никудышной именно в случае заболевания, связанного с состоянием здоровья. Бумага больше необходимая для показа при пересечении границы. В агентстве ему разъяснили: чтобы получить хорошую страховку, нужно за свой счет лечь в клинику и там пройти детальное обследование, которое установит все его проблемы со здоровьем, после чего и будет определен размер страховки. Проблем хватало и помимо инфаркта, и он понял, что такую страховку ему не потянуть. Впрочем, Гейм не бедствовал. Средства на оплату небольшой, но уютной двухкомнатной квартиры в центре Варшавы ему давал Фонд поддержки восточноевропейских интеллектуалов. А на жизнь он зарабатывал, ведя спецкурс по славянской литературной компаративистике в Варшавском университете и лекциями по теории и истории фельетона в Высшей школе журналистики имени Мельхиора Ваньковича. Прекрасным материальным подспорьем были для него публикации на белорусские темы в «Gazecie Wyborczej», «Rzeczpospolitej», в журналах «Polityka» и «Więz». В последнем был опубликован его большой цикл «Белорусско-польские заметки». В Варшаве вышла книга Гейма «Белорусская трагедия», вызвавшая сочувственные отклики не только в Польше. Интерес к Беларуси хотя и заметно угасал в польской прессе по мере таяния к концу 90-х надежд на демократизацию режима, все-таки еще сохранился. Как-никак – соседи. Плюс немалая польская община в Беларуси. На официальном уровне отношения прохладные, но не враждебные. В общем, деньги были. Но у Гейма имелись планы, связанные с покупкой жилья в Варшаве, он опасался, что оплата операции пробьет серьезную брешь в его бюджете и потому пытался разузнать через навещавшего его Михала стоимость операции. Выяснилось, что это затруднительное дело, поскольку имеется множество разнообразных обстоятельств, о которых Гейму пришлось узнать позже. Но, в общем, по неким сведениям, доходило, что

операция может вылиться в весьма круглую сумму в злотых, адекватную 5-6 тысячам долларов. И это только операция! А само пребывание в клинике, которое неизвестно насколько может затянуться, анализы, процедуры, лекарства! Это для граждан Польши действует система государственного страхования. А Гейм – иностранец без приличной страховки, поэтому оплата наивысшая и стопроцентная.

Как страшат иностранцев возможные расходы, а точнее – невозможность оплатить их, Гейма убедил и смешной и вместе с тем драматический эпизод. Еще до операции, ночью не спалось, и он вышел в коридор. Неожиданно увидел, как к лифту движется странная черная фигура, вся в бинтах и повязках, поддерживающая на весу капельницу. Утром узнал от медсестры. Какой-то африканец, напуганный предстоящим громадным счетом за операцию, пытался бежать из клиники, но не решился или не сумел отцепить капельницу. Его задержали на первом этаже.

Доктор Збигнев, которому Гейм пожаловался на скромность своих возможностей, предложил написать на имя директора клиники, знаменитого кардиохирурга профессора Збигнева Религи просьбу разрешить оплатить только саму операцию. Это жалостливое и одновременно пафосное письмо («Будущая демократическая Беларусь не забудет этого доброго жеста со стороны демократической Польши» – это ж надо додуматься до таких оборотов? да кто он такой, чтобы так возвеличивать собственную фигуру?) Гейм сочинял в кабинете доктора Збигнева, чтобы избежать любопытства со стороны поляков, соседей по палате.

А любопытство было и немалое. Соседи по палате, внимательно прислушивались к разговорам Гейма с доктором Збигневым. Гейм говорил по-польски почти без акцента и фамилия была вроде без подозрений. На «скорбном листе», висевшем на перекладине его кровати, значилось – «Wiktor Gejm». Но, безусловно, некие семитические черты, доставшиеся ему от матери, настораживали двух особо чутких к «еврейскому вопросу» – старого автомеханика Юзефа и лежавшего рядом с ним сорокалетнего владельца овощной лавки Гжегожа. Оба, как и Гейм, в ожидании операции. А вот третьему, лежавшему в противоположном

углу, ближе к двери и, наверное, не добравшемся еще до тридцати Янеку не повезло. У него наступил инфаркт во время коронарографии. Той самой процедуры, которая должна от инфаркта спасать. Но врачи успокоили и обещали через некоторое время поставить ему то ли стент, то ли шунт. В общем, собирались исправить свою ошибку. Был и еще один несчастный, лесничий из какой-то провинции. У него во время операции парализовало обе ноги. К нему приходила с кучей родственников какая-то разбитная врачиха, тыкала иглой в ноги, но он не реагировал. К тому же его умудрились жестоко простудить, и он страшно кашлял, особенно по ночам. А Гейм и без того страдал от жестокой бессонницы. Дело дошло до того, что он стал искать какой-нибудь закуток в коридорах клиники, где можно поспать подальше от этого пушечного кашля. Среди этих жалких попыток его застал молодой ординатор, и ему стали давать на ночь имован – серьезное снотворное, которое можно употреблять не более двух недель, чтобы не образовалась зависимость. А он и потом стал выписывать его через знакомого кардиолога Анджея Ендрусяка, кабинет которого был в соседнем доме. И пошли месяцы, затем годы. Имован сменился хальционом. В общем, он стал наркоманом по части снотворных препаратов.

Палатные же разговоры нередко сворачивали на «истинных врагов» Польши, но тут же останавливались, Гейм ловил направленные в его сторону взгляды. И однажды не выдержал:

– Proszę państwo nie krępować się i śmiało opowiadać o żydach.

В самом деле, чего стесняться, если хочется говорить о евреях? Он и сам рассказал какой-то еврейский *kawał* (анекдот). Пожилой Юзеф, особенно заиклившийся на тему, будто порывался, спросить, какой он национальности, но так и не решился. Но очень скоро выяснилось, что первое место в польской нелюбви занимают не евреи, а украинцы. Почти у всех нашлись родственники, пострадавшие во время Волынской резни. В общем-то, как-то так получилось, что Гейм стал восприниматься как белорус, что особенно укрепилось после того, как Юзеф попросил

его поговорить по-белорусски, признавшись, что ни разу не слышал белорусской речи. Это был, конечно, экзамен, и Гейм порадовал соседей сочной мовой. А сам припомнил слова начальника первого отдела при президиуме АН БССР, который, подписывая ему документы на командировку в Чехословакию, сказал:

– Да, конечно, папа вроде русский, мама подкачала. Но у меня, имей в виду, не только половинка, но и четвертинка вашего брата идет за целого.

Это было предупреждение вести себя разумно в «постреволюционной» Праге. И намек на то, что его биография доподлинно известна тем, кому следует всё знать.

Окончательно палата расположилась к Гейму, когда к ним пришел исповедовать ксендз. Поляки напряженно затихли, когда совсем молоденький святой отец подошел к его кровати. Гейм, указав на крестик на шее, сказал, что он православный, и услышал то, что много лет назад сказал ему брат Евы Адам:

– Pan jeden dla wszystkich.

От наклонившегося к нему совсем по-мальчишески выглядевшего ксендза пахло сигаретой, видимо, выкуренной только что в рукав сутаны. И это особенно расположило к нему Гейма. Он исповедался. Спустя несколько дней после операции, когда Гейм был переведен в общую палату, ксендз снова навестил его и, явно удовлетворенный состоянием пациента, сказал:

– A co ja mówilem panu? Pan jeden dla wszystkich.

Да, он говорил, что Бог единый для всех поможет ему. И Бог помог, когда жизнь Гейма буквально оказалась на волоске. В «эрке» (реанимации) он лежал прикрытый до пояса простыней, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, обклеенный десятками датчиков, с интубационной трубкой во рту. Монитор фиксировал работу сердца. Сначала он не понимал, почему сestra время от времени, отворачивая край свисавшей простыни, заглядывает под кровать. Потом догадался: она смотрит, сколько крови натекло из шлангов-трубок, торчавших у него между ребрами. Он потерял счет времени, но все-

таким догадывался, что кровь давно должна была перестать течь. А у него текла и текла, и сестра все заглядывала под кровать и качала головой. Он понял: это конец, операция удалась, но кровотечение не удалось остановить, и больной скончался. Такая вот формула. Когда перед его ложем собрался консилиум во главе директором клиники, профессором Религой, он попытался прислушаться к тому, о чем они говорили. До слуха долетело только сказанное Религой:

– Coś tam jest.

Что-то есть? А что? Не скальпель же они в его груди забыли? Под эти размышления его опять увезли в операционную. Он успел только услышать щелканье скреп, которыми была соединена грудина, и погрузился во тьму. После второго разятия и соединения частей грудины кровь продолжала течь и попытки вынуть тубу изо рта ничего не давали – он начинал задыхаться. Потом Гейм узнал, что оперировавший его хирург, доктор Тадеуш Жмитевский, не отходил от него двое суток. В какой-то момент, когда он был рядом, Гейм взглядом и движением руки показал на нагрудный карман халата врача, из которого была видна ручка. Доктор дал ему маленький блокнот, и он с трудом вывел:

«Panie doktorze, czy ja będę żywy?»

Глупый вопрос. Будет ли он жить? Что мог ответить врач? Еще через сутки они вызвали Марину, которая уже две недели как, приехав из Минска, жила в его квартире. Все может решиться в ближайшие часы, она должна быть готова к худшему. Гейм слабо сжал ее руку, и она, всё поняв, дважды сжала в ответ. Это означало – поставлены два шунта. Потом несколько раз снова пытались вынуть тубу, но он по-прежнему задыхался. И только спустя сутки, а может, больше он с громадным трудом начал дышать без трубки в горле. Но кровь текла по-прежнему. Это утекала его жизнь. И тогда появилась решительная пожилая дама-анестезиолог в сопровождении молодого ординатора. Она наблюдала и давала указания, следуя которым молодой ординатор выдернул из ребер шланги-трубки. И кровь остановилась. Снимок показал – еще немного, и она заполнила бы сердечную сумку.

Позже, пытаясь анализировать, что все-таки произошло, почему у него не останавливалось кровотечение, которое

в принципе должно остановиться часа через три-четыре после операции, Гейм понял, что и в этой клинике, вполне европейской, чистой, ухоженной, набитой самой современной аппаратурой и с великолепным штатом специалистов, есть свой бардак. А почему эта пожилая докторша-анестезиолог не пришла к нему раньше, до операции? Впрочем, еще неизвестно, она ли была на операции и проводила анестезию. Но ведь по всем правилам анестезиолог должен был придти и спросить, какие препараты он принимает. И доктор Збигнев только дня за три до операции сказал, что не следует принимать кардиоаспирин, разжижающий кровь. Безусловно, прием аспирина нужно было прекратить намного раньше. Скорее всего, тут сказалось, что они тянули со сроком операции. И хирург мог бы сказать, но он тоже к нему не пришел накануне операции, хотя положено. А вот к Юзефу приходил тот знаменитый хирург Желязны, который его оперировал. Неужели только потому, что он не свой, не гражданин Польши? Нет, наверное, все-таки обычный бардак, из-за которого он, продолжая принимать аспирин, содействовал разжижению крови, вот она и потекла.

Хотя о крови вообще было много разговоров. Перед операцией доктор Збигнев спрашивал, не мог бы кто-либо из его знакомых сдать для него кровь, необходимую для переливания. Ну и перелили ему литры польской, целиком заменили прежнюю. Он запомнил слова хирурга: «*Tyle panu transfuzowalismy polskiej krwi, że pan już jest całkowitym polakiem*». А тогда не было сил сказать, что часть польской крови уже была в нем. Через мать.

Тем более, что, живя в Варшаве, он уже вполне чувствовал себя «цалковитым» поляком. А тут полная замена крови – нешуточное дело. Он готов был признать, что замена крови способна изменить национальное самосознание.

Господь не раз спасал его. И во второй раз он ощутил это в той же клинике. После операции его положили не в общую «эрку» (реанимацию), а только на двоих. Вторым был Мариуш, пятнадцатилетний парень почти двухметрового роста. Что-то с гипофизом. В общем, ему пересадили сердце. Отец Мариуша буквально дневал и ночевал при

нем. И это спасло Гейма. Он отлучался днем иной раз на несколько часов, этот человек, отец Мариуша, плотный, молчаливый поляк лет сорока. И вот именно в такую отлучку случилось. Был вьюжный конец февраля. За окном мело. Сильный ветер распахнул верхнюю фрамугу, и ледяной ветер ожег Гейма. Ну вот и конец, воспаление легких. За стеклом двигались, как рыбы в аквариуме, сестры, но никто не входил к ним, не поворачивал головы в их сторону. Он попытался привлечь их внимание и столкнул на пол одеяло. Никакой реакции. Он лежал голый, потный, обдуваемый холодным воздухом. И тут – о счастье! – дверь открылась, и на пороге показался отец Мариуша. Он мгновенно перехватил взгляд Гейма, указавшего на окно, прыжком вскочил на подоконник и захлопнул фрамугу. Гейм все-таки простудился, долго и надсадно кашлял, мешая, как и парализованный лесничий, спать ночами соседям по общей палате.

XXI

И вот в эти-то дни, когда он приходил в себя и начал потихоньку вставать и ходить, появился Анджей Губец. Откуда-то он узнал, что дело с оплатой операции еще не решено и предложил свои деньги. Гейм колебался, но понял, что нужно отказаться. Этот «электрик» мог загнать его в ловушку. Половину счета, выставленного клиникой, помогло оплатить акционерное общество, выпускавшее газету «Rzeczpospolita». Все-таки он был давним и постоянным автором этой газеты. Там еще помнили, что его к сотрудничеству привлек основатель издания покойный Дариуш Фикус. Тогда это еще была державшаяся либерально-демократических позиций популярная газета. За прошедшие годы сменившая ряд владельцев, она уже давно отстаивает взгляды правых патриотов, сторонников Ярослава Качиньского.

А Губец все-таки караулил его. Осенью того же года, когда была сделана операция на сердце, стало ясно, что

читать лекции в Варшавском университете он больше не сможет и надо возвращаться в Беларусь. Незадолго до отъезда Анджей назначил ему встречу в кафе на Новом Святе. Он заметно нервничал. Но быстро взял себя в руки и после первой рюмки водки, глядя Гейму в глаза, сказал, что неплохо было бы, если бы он присылал из Минска свои аналитические обзоры о положении в Беларуси.

– To werbunek?

Анджей напрягся. Ну какая вербовка? Так, информация.

– Ale co ja moge ci zawiadomić, czego niema w białoruskich gazetach albo na telewizji?

Гейму нравилась эта игра, нравилось видеть растерянного Губеца, начавшего уверять, что мнение видного белорусского публициста представляет особый интерес.

– Boja się, że to może drogo ci kosztować.

Эта игра ему явно доставляла наслаждение. Его еще никогда не вербовали. А Губец серьезно отнесся к словам, что сотрудничество будет дорого стоить, и тут же предложил поехать к ним и *wszystko załatwić*. Да-да, мы сейчас все решим. Я познакомлю тебя со своим руководством. И вообще ты можешь прямо сегодня переехать в *наш отель*. Все бесплатно, включая питание в ресторане. В твоем номере компьютер.

Игра начала заходить далеко, но требовалась эффектная концовка. Гейм посмотрел на часы и сказал, что у него скоро важная встреча и что он позвонит Анджею вечером. Спустя часа три, погуляв в Лазенках, он позвонил и сказал, что вынужден отказаться, поскольку занят своими литературными делами. Чувствовалось, что Анджей был близок к шоку. Неужели этот дурак и вправду рассчитывал вербануть его? Он начал умолять о немедленной встрече в том же кафе. А зачем? Ведь все ясно. Но Губец буквально умолял, и Гейм согласился. Анджей примчался встрепанный, потный, он забыл в такси свою модную шапочку. Он попытался выяснить причину отказа, но наткнувшись на холодное «нет», попросил о единственном – никому не говорить об этом разговоре.

И вот спустя почти десять лет, он снова ищет встречи. Конечно, не здоровье Гейма его интересовало.

XXII

Правитель уже несколько дней решал сложную проблему. Он бился над вопросом: что дали белорусы человечеству? Русские, французы, англичане, итальянцы, американцы, немцы – это понятно. Но белорусы? И рядом с ними эти маленькие, но заносчивые народы – литовцы, латыши, эстонцы... А уж поляки! Ведь ничего по сути, по большому счету не могут предъявить миру. Он где-то вычитал, что главная немецкая добродетель – это послушание. Хорошо бы привить это качество белорусам. Да, собственно, они не бунтари. Так, отдельные личности. Тот же бывший депутат Кириллов, бывший министр Клитко, бывший вице-премьер Бондарь... Все бывшие. Кое-кто уже и полностью отбыл свой земной срок. Трепыхается еще поэт Анатолий Метелин. Ну эти деятели из движения «Борись за правду» вообще смешные фигуры. Целиком состоят на содержании западных спецслужб через фонды соответствующие. Но под его контролем, естественно. Дерутся из-за бабок напраполю.

В общем, получается, что серьезная история началась у белорусов с него. Четверть века у власти, во главе народа и государства. Кто был здесь дольше у властного кормила, чем он? Все эти князья, короли, императоры, первые секретари, для которых эта страна была малой и глухой провинцией их обширных владений. Некого поставить рядом. Но ведь презирают его и французы и немцы, не говоря об американцах. Он постелил им Минск на переговорах по Украине. Так Меркель ему даже руки не подала. И Олланд куда-то вбок смотрел. А ведь он им чуть ли не лично салаты рыбные носил, сам кофе подавал. Он, президент суверенного государства, так старался. Даже Мутин, российский президент его одернул: ты, мол, не увлекайся.

О, если бы он пришел к власти на три года раньше! Уж он бы не позволил, как слабак Бушкевич, вывести с территории Беларуси баллистические ракеты. И теперь они бы заискивали перед ним. И с кредитами было бы нормально, и никаких санкций. Поскольку он вел бы себя умнее, чем

этот горделивый баран Мутин. Сам перессорился с Западом, и Его в то же болото тащит. Но он умнее Мутина. Ласковое теля двух маток сосет. С России нужно драть все, что можно, – деньги, нефть, газ. Но и перед Западом нужно уметь вилять хвостом. За 25 лет он это искусство освоил замечательно.

Часто ему казалось, что время работает на него. Какое им дело до «последнего диктатора Европы», если у них под носом, в Париже и Брюсселе, террористы взрывают людей, если толпы беженцев осаждают их границы и уже миллион просочился в ту же Германию? Мало у Запада забот? И вообще прав был Альфред Нобель, сказавший, что демократия это стадо идиотов под управлением подонков.

Но нужно показать им, что он не пешка, что с ним придется считаться. Вон Северная Корея – птичка-невеличка. А весь мир с содроганием следит, что там делается. Молодец этот Ким! Ядерное оружие сегодня решающий козырь. А наши академики спят в шапку. Сколько он ни выступал перед ними, сколько ни говорил о необходимости реально эффективной науки – все бесполезно. Этот Институт ядерной энергетики в Соснах оказался настолько полным дерьмом, что даже местный реактор остановили. И если бы не последний доклад генерала Леза, можно было бы ставить вопрос о закрытии Академии наук, как полностью бесполезной. Какие-то институты прикрепить к университетам, другие к соответствующим предприятиям как прикладные лаборатории. И всё, конец этой затратной чепухе под названием белорусская наука.

Сегодня Лез должен изложить ему ситуацию лично и в подробностях. Оказывается, большие дела делаются не в институтских стенах, а в академическом дачном поселке. Черт знает что!

Моложавый и подтянутый генерал КГБ Лез сразу же попросил прощения за некоторую лекционность изложения. Правитель разрешающе махнул рукой. Лез развернул перед ним карту звездного неба.

– Все началось со звезд. Они, как установила наука, не вечны и стареют. То есть наблюдается их эволюция, с ко-

торой связано понижение температуры. В этих условиях собственная гравитация сжимает звезду, уменьшая ее размеры, вплоть до минимальных.

– Я не кончал физический факультет и не астроном, – прервал его Правитель.

Лез опешил.

– Я тоже. Но могу излагать только то, о чем говорят специалисты. В общем, в результате этих процессов возникает небольшое сверхмассивное тело...

– Как это небольшое, но массивное?

– Ну, вероятно, по сравнению с обычными телами. Короче, это тело представляет собой так называемую «Черную дыру», которая способна втягивать в себя окружающую материю, включая фотоны собственного излучения. Поэтому эта Дыра не видна и называется Черной.

– Черная, но не видна! – недовольно пробурчал Правитель

– Такой объект, – уныло пробормотал Лез.

– Но нам-то что дает этот объект?

– Дело в том, что некоторые ученые считают, что можно получить малую «Черную дыру» искусственным путем на сверхмощных коллайдерах. И кажется, профессору Гончарику из Института ядерной физики удалось изобрести портативное устройство, которое на основе новых, ранее неизвестных физических принципов, разработанных академиком Рейником и углубленных академиком Лавкуновым, способно породить такую малую «Черную дыру», имеющую тенденцию к втягиванию в себя материи.

– И что?

– Там взаимодействуют элементарные частицы – электрон и позитрон. Создаются условия для их разгона в небольшом пространстве. В результате столкновения потоков этих частиц возникает Черная Дыра. Она расширяется и начинает как бы поглощать реальный окружающий мир.

– Как это поглощать?

– Ну все вокруг втягивать в себя. Природу, города, дома, страны...

– Весь мир, что ли, может погибнуть?

– Похоже, что так.

Правитель задумался.

– Нет, нам такого не нужно. Всеобщее поглощение это ведь и исчезновение нас с вами. Нашей страны. Процесс должен быть управляемым. Направляемым только на определенные объекты. В общем, нужна управляемая Дыра.

Лез ответил неуверенно:

– Можно предположить, что профессор Гончарик решил эту задачу – вывести действие Дыры на определенное расстояние.

– Ну так узнайте у этого Гончарика, – раздраженно крикнул Правитель. – Мне что ли вас учить?

Лез потупился.

– Профессор Гончарик умер. Есть подозрение, что его убили...

– А материалы, материалы его где и эта модель? – закричал еще сильнее Правитель.

– Они исчезли. Мы ищем.

– А эти академики Рейник и Лавкунов? У них же наверняка что-то есть насчет этого мини...

– Миниколлайдера... Рейник в маразме, ему уже за девяносто лет. А Лавкунов умер два года назад. Но мы проверяем их архивы.

Правитель нахмурился.

– С этим делом тянуть нельзя. Западные спецслужбы определенно что-то уже пронюхали. И россияне, конечно, не дремлют. Бросьте на это дело лучшие силы!

– Уже! Но я должен сообщить вам еще об одном важном обстоятельстве. В этом дачном поселке Академии наук зреет заговор против вас. Кириллов плетет какие-то сети на даче своего тестя.

– Кириллов? Ему мало трех отбытых сроков?

– Видно, не уgomонился. Мы разработали план. Через неделю большой спортивный праздник в Раубичах. Мы дадим официальную информацию, что предполагается ваше присутствие. Они должны клюнуть, и мы их возьмем.

– Разумеется, я туда не поеду.

– Само собой. Но мы инсценируем ваш приезд.

XXIII

Ночами Правитель продолжал мучить Евгению историческими экскурсами. Этот выпускник Института физкультуры был буквально набит историческими знаниями. На этот раз ему не терпелось рассказать ей о Всеславе Чародее. Вот спорят историки, что за знак он с раннего детства имел на голове. А ему ясно, что это был космический знак, свидетельство его связи с Черной Дырой, которой он умел управлять. Благодаря этой связи он превращался то в сокола, то в волка, то в золоторогого тура. Она же, эта связь, вела его к победе над Новгородом и освобождению из киевского плена, к расширению Полоцкого княжества до Балтийского моря и родственным связям с могущественной Византией. Не может быть, чтобы сила Черной Дыры исчезла навек с лица белорусской земли. Она проявила себя в Чернобыле. Но это была только попытка. Теперь у него есть надежное свидетельство, что тайна не утеряна. Белорусские ученые сегодня ее расколдовали.

Во сне Правитель метался и повторял имена профессора Гончарика и академиков Рейника и Лавкунова, бормотал о каком-то коллайдере. Евгения поняла, что и сон и речи Правителя – дело непростое. На следующий день она приехала в дачный пансионат «Наука». В общем-то, сны и речи Правителя это был только повод. На самом деле она давно хотела увидеть Кириллова. У них был роман еще до первого его ареста. Кириллов сразу предупредил: жену не бросит. Это был второй его брак. У них с Амалией была общая дочь. Амалия была юристом и выступала как защитник на всех процессах Кириллова. Евгения не могла не оценить этого обстоятельства и отступила в своих претензиях, ушла в тень. И не в какую-нибудь, а в тень самого Правителя, плотно опекавшего ее и в клинике, где она работала, и создавшего особые условия для ее взаимоотношений с их общим сыном Ванечкой. По сути Правитель отставил мать от ребенка, она была номинальной матерью. А Ванечка стал буквально принцем-наследником, не только живущим с ним, но и со-

проводящим его в международных визитах, на разных торжествах и спортивных соревнованиях. Амалия знала о страданиях Евгении и жалела ее. В последние годы они стали почти подругами.

Амалия встретила ее на веранде дачи. Обнялись, поцеловались.

– А Федор в своей лодке на озере, – сказала Амалия. – Откуда столько сил? С утра пробежал десять километров. И вот после обеда – гребля.

– Ему нужно быть сильным.

– Но ты ведь прискакала не для того, чтобы сообщить мне это? – прищурилась Амалия.

Ах, скажите, какой допрос! Могла бы подруга держаться и поскромнее. О ее романе с Виталием Лавкуновым известно далеко за пределами дачного пансионата «Наука». Но не будем сводить счеты. Да, не для того она прискакала. Но, знаешь, давай дождемся Федора. А пока скажи мне, дорогая, что ты знаешь о профессоре Гончарике. Ну что могла сказать Амалия? Этого молчуна недавно нашли то ли убитым, то ли погибшим в результате несчастного случая, падения с обрыва. А почему он тебя интересует? Нет, все-таки дождемся Федора, чтобы дважды не повторять.

Кириллов, улыбчивый бронзовый бог с бугрящимися мышцами и каноэ на плече, появился часа через два, когда дамы уже выпили вина и перешли к кофе. Евгения разомлела на летнем воздухе, и ей показалось, что сейчас главное это поцеловать Кириллова так, чтобы это выглядело именно дружеским поцелуем. Но от зоркого взгляда Амалии не укрылась особая дружественность этих губ.

– Хватит лизаться, – неожиданно сурово сказала она. – Ты по делу приехала, давай излагай.

По мере того, как Евгения излагала с лица Кириллова смывалась улыбчивость.

– Как он называл эту штуку? – переспросил он. – Коллайдер?

– Вроде того.

– Так он сумел забрать у Гончарика документы и само устройство или нет?

Евгения растерялась.

– Я не знаю... Он все твердил про какую-то «Черную дыру».

Кириллов оставил женщин на веранде, поднялся в свой кабинет и набрал номер генерала Малатика.

– Алексей Спиридонович, немедленно приезжайте ко мне.

– Я могу только поздно вечером, – ответил усталым голосом Малатик. – Много работы.

– Хоть ночью.

Малатик и приехал в первом часу ночи. Алексей Спиридонович был строгий службист. Начальник криминальной милиции, он понимал, что в условиях режима, созданного Правителем, соблюдение закона невозможно. Но старался хотя бы частично ограничить беззаконие, по крайней мере там, где не видел опасности для себя. В последнее время кольцо вокруг него сжималось, его буквально толкали на поступки, которые вызывали в нем память о том, как после смерти Сталина со службы выгнали его отца, тоже генерала МВД. Правитель засиделся, но он не вечен, а замараться и сломать карьеру нынче просто. Контакты с оппозиционером Кирилловым он поддерживал официально из чисто служебных интересов. Кириллов числился его подопечным. Впрочем, и КГБ протер над опальным бизнесменом свои крылья. Собственно, вместе с генералом Лезом они пасут Кириллова. Его можно будет использовать. И кажется, этот момент настал.

Кириллов очень коротко изложил Малатику информацию о Гончарике и его изобретении.

– Я, Алексей Спиридонович, закончил, как вам известно, Львовское пожарно-техническое училище. Но хочу сообщить вам, что кое-что читал по квантовой физике.

– Мы догадываемся, что вы знающий человек.

– Сейчас не до комплиментов. Вы слышали о Большом адронном коллайдере, находящемся под Женевой. Это крупнейшая экспериментальная установка, где производится разгон и столкновение заряженных частиц. Длина основного кольца ускорителя больше двадцати шести тысяч метров. О нем немало было в прессе. Но о малых ускорителях минимального размера, способных рождать

гигантскую энергию, нигде вроде не упоминалось. Если профессору Гончарику действительно удалось изобрести нечто подобное и при этом добиться фантастического разгона частиц, то возможно получение очень большой энергии. Но самое поразительное в том, что он установил связь между этой энергией и зарождением Черной Дыры, способной поглотить Вселенную. Если это изобретение попадет в авантюрные руки, мир погиб.

– Вы имеете в виду Правителя?

– Ну, он не станет губить самого себя. Но на шантаж мирового сообщества несомненно пойдет.

– Полагаю, об этом нужно сообщить генералу Лезу. Он подключит своих людей. У них больше возможностей.

– Я не доверяю Лезу. Мне кажется, что он играет на два фронта.

– Я тоже так играю. Это вынужденное состояние.

– И кто из вас предаст меня первым?

– Это будет зависеть от обстоятельств. В конце концов, вы ведь уже передавали через Леа Скарбцу серьезную сумму для организации покушения.

– Провалили дело.

– Конечно. А надо было напрямую действовать. Зачем было это лишнее звено – Скарбец?

– Я хорошо знал Скарбца по Верховному Совету, а он был другом тренера биатлонистов Васильчука.

– А сейчас Лез возглавляет федерацию биатлона и может непосредственно выйти на Васильчука.

– Нет, больше никаких посредников не будет. Я сам передам деньги Васильчуку. И сделаю это в тот момент, когда он убьет Правителя. Я должен сам это видеть. Больше никому не доверяю. Евгения сказала, что Правитель будет через неделю на большом спортивном празднике в Раубичах. Вот и воспользуемся.

– Но люди Креймана тоже не дремлют. Они плотно ведут Клитко и Бондаря. У тех ведь тоже свои планы. Клитко сколотил союз офицеров. Люди дисциплинированные, у многих есть оружие. Бондарь накопил десять томов компромата на Правителя по части надругательств над конституцией и жаждет представить его оппозици-

онной части бывшего Верховного Совета и международному сообществу. И тут вклинивается эта история с Гончариком.

Кириллов хлопнул в ладоши.

– Ну вот и хорошо. Все стягивается в один узел. Мы его и разрубим.

XXIV

Авиарейс Дюссельдорф-Варшава из-за грозы опоздал на час. В аэропорту их встречали Кристина с Джоном и совершенно неожиданно – вместе с Анджеем Губецом. Последний улыбался так, как будто они вчера расстались и были лучшими друзьями. Ну вот, слава Богу, все обошлось, говорил он, протягивая цветы Марине и силясь обнять неловко уклонившегося Гейма. Ну не устраивать же скандал и выяснение отношений в аэропорту? Тем более, что Кристина пригласила Анджея отметить благополучный исход операции у них на вилле в Константине.

После легкого ланча и свидания с внуками Гейм сказал, что хочет отдохнуть и ушел в свою комнату. Настырный Губец явился туда через минут пятнадцать. Он извинялся, но говорил, что дело спешное и не терпит отлагательства. Почему-то предпочел говорить по-русски.

Он рассказал Гейму, что польской службе военной разведки известно, что профессор белорусского академического Института ядерной энергетики Гончарик то ли близок к завершению, то уже завершил работу над изобретением, которое угрожает судьбам всего мира, самому существованию Земли. Миниколлайдер. Портативный ускоритель, способный породить Черную Дыру.

Опять на его жизненном пути оказались ядерные дела. Гейм вспомнил свою солдатскую службу в военно-строительных частях Средмаша (Министерства среднего и специального машиностроения СССР, «Средняя Маша» в устах связанных с ним циников). В середине 60-х годов, когда выперли с четвертого курса университета, его не-

медленно взяли в армию и он попал за проволоку, в зону, именуемую Красноярск-26, километрах в шестидесяти от краевого центра. Он долбил отбойным молотком базальт в шахте под Енисеем и мучительно размышлял над тем, почему так усиленно стучит счетчик Гейгера над входом в их штрек. Радиационный фон был явно повышен. Где-то поблизости явно работал реактор, о чем свидетельствовали и двигавшиеся по проложенной в шахте железнодорожной ветке цистерны с дейтерием-2 и все меры безопасности, которые предпринимались на объекте. Секретность была высочайшая.

Скоро он узнал, что главным объектом города «Зеро» был Горно-химический комбинат, на котором изготавливали оружейный плутоний для ядерных зарядов баллистических ракет. Реактор, помимо военных целей, обеспечивавший город электроэнергией, еще долго работал после того, как объект лишили секретности и город стали именовать Железногорском. Хотя режим ЗАТО – закрытого административного образования – там сохранился.

Младшего сержанта Гейма спустя год после службы в Сибири перевели в Москву, где понадобились его журналистские способности. Исполнялось тридцать лет со времени создания по приказу Сталина специальных частей, занимавшихся строительством объектов, связанных с ядерной энергетикой. Средмашевскому начальству очень хотелось иметь очерк своей истории. Но секретность давила. Да и автора со стороны нельзя было пригласить. А тут свой журналист, почти закончивший университет. Разрешили учебу продолжать заочно и поставили труднейшую задачу – написать очерк истории военно-строительных частей, но так, чтобы секретность оставалась нерушимой. Приставили капитана-контролера Климентьева из спецотдела и еще сверху из военной цензуры рыжего полковника Соловьева. Первый шнуrowал, нумеровал и штемпелевал страницы в больших общих тетрадах-альбомах, в которых Гейм писал свое сочинение, второй их брал на просмотр и половину вычеркивал. Хотя Гейм усвоил полагавшуюся стилистику и вместо полков, управлений и званий их командиров указывал «подразделения под командованием

Петрова или Иванова». Конкретика разрешалась лишь в случаях с гражданскими объектами. Такими считались Обнинская атомная электростанция, синхрофазотрон в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне, ускоритель в Институте физики высоких энергий в Протвине под Серпуховом. Это были поражавшие воображения сооружения, громадные кольца, в которых осуществлялся разгон заряженных частиц. Что же касалось описания подвигов военных строителей на целиком закрытых объектах, как в том же Красноярске-26, Челябинске-40 (Озерске), где перерабатывали облученное топливо с АЭС и изготавливали оружейный плутоний, в Томске-7 (Северске), где готовили новейшее ядерное оружие, и других городах «Зеро», в которых Гейм побывал в командировках, то здесь приходилось необыкновенно изощряться в особенностях изложения. Но несмотря на хитроумнейшие стилистические ходы Гейма, полковник Соловьев делал беспощадные и обширные вычерки.

Гейм пытался спорить, приводил в пример разрешенную вступительную главку, в которой открыто говорилось о необходимости создания атомной промышленности в ответ на американскую бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

– Международную обстановку и мотивацию создания спецчастей мы можем осветить, – говорил полковник Соловьев, – но конкретики никакой. Вам дай волю...

И он пристально вглядывался в лицо младшего сержанта Гейма. Вообще Соловьев любил поговорить с ним на разные темы. Но в *такие моменты* – Гейм это чувствовал – он прощупывал его. И однажды копнул:

– Вообще с вашими взглядами...

– А какие у меня взгляды, товарищ полковник?

Соловьев рассердился:

– Вы что думаете, что нам неизвестно, какие вы там, в зоне, сочинения писали? Вместе с вашими дружками Гавриловым и Фридманом...

Понятно, что полковник не мог быть не в курсах по поводу «дела литературного объединения», которое пытался раздуть режимный отдел в Красноярске-26. Ну

да, нашли в шахте рукописи – Геймовы рассуждения об истоках и современных вариациях фашизма, и его друзей-москвичей – эссе Юры Гаврилова «Десять вопросов марксисту-ленинцу» и поэму Жени Фридмана, начинавшуюся строкой «Здесь Сталина внуки гнездо себе свили». Но начальство оказалось неглупое – не захотело из интеллигентских рефлексий бывших студентов, отданных в солдаты и брошенных на тяжелые работы в шахте, раздувать идеологический скандал, за который само бы и могло поплатиться.

Гейм скорчил непонятливую мину.

– Ну и какие сочинения мы там писали?

– Антисоветские! – выгнулся Соловьев в своем кресле.

– Бред, товарищ полковник! Антисоветским был доклад Хрущева о культе на двадцатом съезде. А у нас так – размышления по следам...

Хрущев уже более года как находился в опале, и этот ход был почти беспроигрышным.

Но полковник нашелся:

– Хрущев не антисоветчик, а волюнтарист!

Гейму хотелось сказать что-нибудь вроде того: «Ну полно вам, товарищ полковник! Вы ведь вполне разделяете мое мнение», но вместо этого сказал:

– Конечно, о терминах можно поспорить.

Полковник махнул рукой.

– С тобой хорошо в ресторане посидеть-порассуждать. За рюмкой, знаешь... Но в любом случае, ты должен ценить, что тебе поверили и доверили такое дело... такое дело... Не что-нибудь – историю специальных военно-строительных частей пишешь.

– С вами напишешь, – кисло усмехнулся Гейм

– Вот именно со мной.

Тощая брошюрка в твердом переплете под названием «Славные традиции» таки вышла в типографии «Советский воин». Был указан целый авторский коллектив. Гейм шел первым по алфавиту. А затем еще три фамилии офицеров из политуправления. Справедливее было бы приписать полковника Соловьева. Он действительно потрудился...

XXV

А память возвращала упрямо к тем давним дням. Всю жизнь ему помнился звонок Фридмана из шахты: «У нас был обыск. Забрали дневники, рукописи...»

Спустя тридцать лет на иерусалимском шуке, базаре, Гейму покажется, что он встретил Фридмана. Ну да, это был он, Женька Фридман, такой же маленький, худой, только черные волосы сильно побелели и взгляд стал какой-то боковой, убегающий. Он стоял в соседнем ряду, что-то вроде покупал. Расталкивая посетителей рынка, нарываясь на брань и толчки, Гейм бросился к нему. «Фридман!» – заорал он, пытаясь перекрыть потрясающие вопли продавцов, расхваливавших свой товар. Человек, к которому он пробивался, повернул голову в его сторону, и Гейм сходу остановился. Кажется, это был не Фридман. Через секунду их глаза встретились, и Гейм понял по неизбывной тоске самого грустного в мире взгляда, что это все-таки Фридман. А еще через секунду что-то нефридмановское показалось ему в повороте головы.

Фридман-Нефридман быстрым шагом стал удаляться, а затем перешел на бег. Гейм ринулся за ним. Минут через десять они оказались на совершенно пустынной узкой улочке, с одной стороны которой шла высоченная каменная стена, а вдоль другой тянулись тесно прижатые друг к другу молчаливые белые особняки, уходившие к Золотым воротам, вглубь восточного Иерусалима. Человек, за которым гнался Гейм, время от времени останавливался, а когда Гейм приближался, снова принимался бежать. «Заманивает!» – неожиданно пронзило Гейма, и он сразу же остановился.

Они стояли метрах в двадцати друг от друга. «Фридман! – крикнул Гейм. – Я знаю, что это ты! Ведь ты – Фридман?»

«Не ходи за мной!» – крикнул ему в ответ человек и, повернувшись, медленно пошел, в полной уверенности, что Гейм больше не будет догонять его.

Потом он очутился у подножия Елеонской горы, бродил по Гефсиманскому саду и повторял вслед за Иисусом: «Отче! Если возможно да минует меня чаша сия; впрочем,

не как Я хочу, но как Ты». Потом он плакал в синагоге рядом со Стеной Плача, и худой веселый хасид утешал его.

– Не надо плакать! Нужно смеяться, веселиться! Посмотри, какое небо, какое солнце!

Хасид беребил его за край куртки и, казалось, куда-то звал. Он пошел за ним. И вскоре оказался в Еврейском квартале Иерусалима, среди белых стен домов, похожих на крепости. Люди в черных шляпах резкими шагами пересекали квартал в разных направлениях. Гейм почему-то решил, что нужно сфотографировать их. Но едва он расчехлил аппарат и навел объектив, как двое черношляпников круто направились в его сторону. Их решительность не оставляла сомнений в том, как они намерены поступить с фотографом. Гейм что-то слышал о том, что *датишские* не позволяют себя фотографировать. Но его вдруг обуял азарт. Он опустил камеру, сделав на минуту вид, что не собирается снимать, и черные тут же отвернулись от него. Но как только он снова навел на них аппарат, они спинами учуяли это и опять резко повернули в его сторону. Игра становилась опасной, и Гейм предпочел ретироваться.

Зачем, зачем он вспомнил об этом, об этих иерусалимских приключениях? Может быть, вход-провал в Храм Гроба Господня напомнил ему об отверстии в горе над Енисеем? Он молил Бога о том, чтобы разминуться с Ядерной Чашей, но это оказалось невозможно. Она преследовала его. И память о черном отверстии в горе над Енисеем, о том, что случилось в шахте, не отпускала, не уходила. У часовни Вознесения он твердил «Отче наш», и молитва сливалась с елеонским видом на Иерусалим.

XXVI

Губец продолжал излагать причину своего визита.

– Ну и при чем тут я? – раздраженно спросил Гейм, вполне понимая, что нужно от него.

– Вы что, хотите, чтобы такое изобретение попало в руки вашего сумасшедшего Правителя? – возрился на него Губец.

– А вы хотите, чтобы оно попало в руки вашего не менее сумасшедшего Ярослава Качиньского?

Губец умоляюще прижал руки к груди:

– Ну при чем тут Качиньский? Я знаю, что вы ненавидите польских правых, этих католических сверхпатриотов из партии «Закон и справедливость». Поверьте, в нашей службе к ним тоже относятся достаточно критично.

– Но какое я имею отношение к изобретению профессора Гончарика?

– Вы не могли его не знать еще со времени, когда были ответственным секретарем журнала «Известия АН БССР», он печатался у вас. А теперь ваши дачи стоят рядом в академическом поселке. Поговорите с ним, убедите его. Мы хорошо заплатим.

– И Польша получит сверхоружие?

– Почему Польша? Цивилизованный мир возьмет под контроль опаснейшее дело.

– Понятно, толкнете за большие бабки американцам.

Гейм встал.

– Вот что. Я еще несколько лет назад сказал вам, что ни в какие ваши шпионские игры играть не намерен.

– Но сейчас другое! Речь идет о судьбе человечества!

– Приберегите эти речи для кого-нибудь другого!

Губец выждал паузу.

– Нам придется прибегнуть к неприятному средству. Сохранилась запись той нашей беседы в кафе, во время которой вы вели себя не так однозначно. Можно будет заинтересовать ею ваши соответствующие органы.

Гейм положил руку на телефонный аппарат.

– Я сейчас же позвоню своему другу Михнику и материал о шантажировании меня вашей службой будет немедленно опубликован в «Газете Выборчей».

– Вы не сделаете этого!

– Сделаю и немедленно.

– Опомнитесь! В вас же есть польская кровь!

– Именно потому...

Потом ему было плохо, давление подскочило до двухсот, а пульс тонометр вообще не мог уловить и сбивался. Марина буквально вытолкала растерявшегося Губца.

XXVII

А польская кровь, вероятно, помогла после операции на Спартаньской. И с оплатой, и шунты вот держатся уже полтора десятка лет. Когда Гейм вернулся из кардиологической клиники, в квартире на Кручковского среди аккуратно разложенной Мариной корреспонденции его ждал пухлый конверт из клиники на Спартаньской. Это был счет. Несколько страниц убористой печати, на которых было обозначено всё: стоимость операции (двойное вскрытие грудной клетки) и коронографии, число дней, проведенных в разных палатах (дороже всего обошлась реанимация, а он там пробыл пятеро суток), каждая консультация специалистов, каждый анализ, каждая ЭКГ, лекарства... Разве что не было посчитано количество «уток» с мочой. И никаких скидок. Сумма была более чем внушительной. Гейм проверил все страницы, еще раз заглянул в конверт. Письма из дирекции, ответа на его слезную просьбу к профессору Религе не было.

Не удостоили. Ну что ж, он подождет с оплатой. Может, ответ придет позже. Прошло чуть меньше месяца, когда из клиники пришел второй конверт с точно таким же счетом и письмом главного бухгалтера пани Дануты Вежбицкой. Пани Данута просила ускорить оплату счета, в противном случае клиника вынуждена будет обратиться в суд. Гейм набрал номер пани глупной ксенговой. Соблюдая максимальную вежливость, он сказал, что не оплачивает счет, поскольку ждет ответа из дирекции на свою просьбу о снижении суммы оплаты, предъявленный счет поставил его в затруднительное положение. И совершенно неожиданно услышал добрейший голос:

– Niech pan będzie spokojny.

Незнакомая женщина уговаривала Гейма не волноваться, поскольку ему это вредно. Про его письмо на имя профессора Религи она знает, оно в бухгалтерии. И есть виза: решить путем переговоров с пациентом. Но есть форма, порядок. Они должны были выслать полную стоимость всех расходов клиники. У них значительный дефицит

бюджета, поскольку есть пациенты, которые вообще ничего не платят. Или фирмы затягивают с перечислением средств по страховкам. Гейм вспомнил бежавшего ночью негра с капельницей.

– Pan może opłacić koszt operacji? – спросила пани Данута.

Только стоимость операции! Это была ровно половина всего счета, и Гейм, ни секунды не раздумывая, выпалил, что конечно, что это ему под силу. И дальше буквально захлебнулся в благодарных словах. На следующий день он перевел деньги на счет клиники.

Но спустя год на его минский адрес из клиники на Спартаньской стали приходить письма с напоминанием о необходимости оплатить еще половину счета. На них была подпись другого главного бухгалтера. Гейм позвонил в Варшаву. На этот раз очень официальный женский голос разъяснил ему, что пани Данута Вежбицкая там больше не работает и что привычка идти навстречу пациентам с частичной или вообще неоплатой счетов – это из минувших коммунистических времен. А теперь другие времена и за всё нужно платить. Тем более иностранцу. У их клиники большая задолженность перед государством. Гейм спросил, была ли коммунисткой пани Данута. Теперь это не имеет значения, ответили ему. Гейм подумал: вот повод пожалеть об уходе коммунистов. А строгой новой ксенговой сказал, что у них имеется его заявление с просьбой уменьшить плату. И на нем есть виза профессора Религи, не содержащая отказа. В ответ получил сообщение, что пан Релига теперь министр здравоохранения.

– Вот у министра и уточните, что он имел ввиду накладывая такую визу на мое заявление. И если это возможно, передайте мой сердечный привет пани Дануте.

Исключительно вежливо пожелав всего наилучшего лично пани ксенговой, а также выразив свою благодарность клинике, Гейм положил трубку. Больше писем из клиники на Спартаньской не приходило.

Все было уложено, упаковано. Они ждали с минуты на минуту Гену, владельца фирмы такси из Бреста, который

должен был отвезти их в Минск. Марина еще возилась на кухне, а Гейм перебирал бумаги на столе. Попался листок, озаглавленный «В случае необходимости». Не мог он озаглавить этот список разнообразных дел и указаний – «В случае моей смерти». Это было бы жестоко по отношению в Марине. Но за день или два до операции он все-таки составил этот список, своего рода завещание: указал, где и что лежит (хотя за месяц его пребывания в клинике она сама в этом разобралась), написал имена и телефоны людей, кому можно было звонить и просить о помощи, в том числе сотрудников белорусского посольства. Более двадцати пунктов разнообразных набралось.

К этому листку был прикреплен другой, небольшой со стихами. Гейм не помнил, чьи это строчки и, скорее всего, их несколько переиначил, но в дни перед операцией постоянно твердил это, а потом записал и передал листок Марине:

Ты много раз меня встречала.
И знаю, снова будешь ждать.
Но не с привычного причала
Пришла пора мне отплывать...

И дальше – про неизбежное, что должно было случиться... Рак поджидал его, дав отсрочку на целых десять лет.

XXVIII

Трифон Курута примчался на дачу Кириллова, на этот раз еще более потный и задыхающийся, чем обычно. Он рухнул в кресло на веранде и минут десять не мог сказать ни слова. И только, когда выпил кофе, сваренного для него Амалией, сумел пробормотать:

– Кажется, Клитко и Бондаря больше нет.
– Что вы болтаете? – напрягся Кириллов
– Я не болтаю, Федор Алексеевич, а сообщаю факты, – обидчиво поджал губы Курута. – Вчера вечером они вдвоем пошли в сауну на Фабричной. У них там аренда только для своих. Кроме них никого не было. Зоя, жена Бондаря, забес-

покоилась и около двенадцати ночи стала звонить мужу. Но он не откликнулся. Она позвонила двум ближайшим друзьям, поехали на Фабричную. А там...

– Что там?

– В сауне кровь. Разбросаны вещи. Видны следы борьбы. Во дворе куски стекла от фар «Ленд-Ровера» Бондаря. Их похитили. И, скорее всего, убили.

– А машина? Где машина Бондаря?

– Исчезла. Вы слышали что-нибудь о Вдовиченко, командире спецназа? Говорят, он возглавил специальную группу, что-то вроде эскадрона смерти. Сначала убивали крупных дельцов из уголовного мира, теперь взялись за оппозиционеров. Федор Алексеевич, я считаю вам нужно уехать из страны.

– Никуда я не уеду. А вам нужно срочно садиться за обращения к белорусскому народу и международной общественности.

– Не знаю, Федор Алексеевич, не знаю... Я сейчас в таком состоянии. Такую работу лучше поручить человеку с именем и большими литературными способностями, чем мои.

– Кому, например?

– Ну, скажем, Виктору Владимировичу Гейму. Известный писатель... Как публициста его знают за рубежом...

– Да ведь он гордец... И вообще сам по себе... Вроде и в оппозиции к режиму и в то же время на отшибе. Не очень хочет с нами знаться.

– А вы попробуйте. Он человек горячий, на такой ужас не сможет не отреагировать.

Курута волновался и прикидывал варианты. Он понимал, что пришло время отчаливать из Беларуси. Еще ночью, узнав, что произошло с Клитко и Бондарем, он написал донесения в три спецслужбы, с которыми был связан, – российскую, польскую и украинскую. Оперативнее всех откликнулись украинцы, пригласив тут же приехать в Киев и заняться там аналитической работой. Майданная революция, вынесшая на острие ненависть к России, поставила Трифона Сергеевича в сложное положение. Его любовь к русской культуре, совмещавшая тягу к Пушкину и Булгарину, плохо вписывалась в нынешний украинский

культурный контекст. Хотя русистика в «незалежной» не умерла, но приобрела специфический колорит. А у Куруты была почти готова докторская диссертация. Протащить ее через давних знакомых в Москве, сидя в Киеве, теперь было проблемой. Московские литературоведческие авторитеты, на которых он полагал опереться, заявили о поддержке по «украинскому вопросу» президента Мутина. Теперь предстояло построить диссертацию так, чтобы она удовлетворяла взглядам тех украинских русистов, которые стояли на ясных националистических позициях, поскольку защита намечалась в Киеве. Это была сложная задача. Но Курута любил решать сложные задачи. Он уже протоптал дорожку к нужным людям в Киевском университете и в академическом Институте литературы имени Шевченко. Конечно, непростое дело – совместить нынешнее прославление Мазепы на Украине с пушкинским *«в нем не слабеет злая воля//неутолим преступный жар»*, но если постараться, можно увидеть и в этих словах восхищение русского поэта личностью гетмана.

Да, нужно отчаливать от белорусского берега и чем скорее. Курута уже заявил о своем выходе из движения «Борись за правду» и то же самое посоветовал сделать поэту Метелину. Денег на этом проекте они заработали немало. Нужно вовремя уходить. Наверное, не случайно в последние месяцы его мозг буравили слова Пушкина: *«Россия никогда не имела ничего общего с остальной Европой. Ее история требует другой мысли, другой формулы»*. Но эта «другая формула» никак не совпадала с устремлениями самого Трифона Сергеевича, и потому он взял решительный курс на Киев. В качестве запасного аэродрома призывно сияла Варшава.

Кириллов нашел Гейма на дамбе. Тот стоял и лениво наблюдал за рыбаками, устроившимися на откосе. Времени было в обрез, поэтому Кириллов приступил без промедлений.

– Виктор Владимирович, вы должны написать обращение к белорусскому народу и международной общественности. Государство перешло к террору против граждан.

Волна политических убийств деятелей оппозиции будет вздыматься все круче.

– Какая, однако, литература!

– Какая еще литература?

Гейм посмотрел прямо в лицо Кириллову.

– Я говорю – красиво выражаетесь.

– Бросьте! Кроме вас, написать такой текст некому.

– А почему вы решили, что я обязан это сделать?

– Но ведь вы демократ! Вы за демократическую Беларусь – это всем известно.

– Кто вам сказал, что я демократ? Демократ – это Курута. Или Метелин. Вот это демократы.

XXIX

Да, действительно, почему не Метелин? Известный поэт, борец «за Беларусь». Лауреат разных премий. Общественный деятель. Сидел в изоляторе КГБ. Судим как один из организаторов беспорядков в день выборов Правителя. Вместе с Трифоном Курутой они придумали и возглавили виртуальное движение «Борись за правду», весьма удачно оседлавшее ряд западных грантов.

Гейм припомнил их встречи в давние годы. Метелин был моложе его на десять лет. У него было лицо юноши с плаката, запечатлевшего образы передовой советской молодежи. Блондин, правильные и мужественные черты лица. Хороший рост. И талантом был не обижен. Правда, начинал, как и некоторые другие белорусские писатели, на русском языке – так сильно было влияние русской литературы. Но потом по зову души перешел на белорусский. И правильно сделал. Потому что очень быстро вышел в первый ряд белорусской поэзии, а русскоязычный поэт из Минска мог бы и затеряться.

Он и не затерялся еще в советские годы. Был замечен и обласкан властью. Лауреату премии Ленинского комсомола, человеку с правильными славянскими чертами доверили внести молодежное знамя в день открытия

съезда КПСС. Тогда же с высокой партийной трибуны он громогласно призывал в стихах: «За счастье не окончена борьба // Мы готовы и к труду и к бою // Отечества великая судьба // Для всех нас стала личной судьбою // Пльви, страна, эпохи ледокол!» Прошли всего несколько лет, и Метелин понял, что «ледокол эпохи» плывет не туда, куда следует, что «отечества великая судьба» это ужасный имперский путь. Он стал клевать и долбать имперскую Россию и соответственно быстро превратился в большого радателя белорусской сверенности и независимости, что немедленно оценили на Западе.

Хотя и при Правителе был период, когда Метелин совмещал посты первого секретаря Союза писателей республики, главного редактора республиканской писательской газеты и главного редактора популярного молодежного журнала. Правитель дал ему Госпремию, приблизил к себе. И он возомнил, решил, что может влиять на Правителя в плане проведения национально-культурной политики. В общем, он хотел отчасти белорусизировать Правителя. И на этом пути вступил в опасную схватку с руководителем Правительевой администрации Калгаевым. А этот полковник КГБ быстро состряпал против Метелина уголовное дело. И было за что. Три поста, занимаемых Метелиным, это три финансовых потока, и просто невозможно было не сделать из них какого-то отведения-канала в свой карман – через гонорары, премии, оклады, приобретения компьютерной техники и мебели.

Друзья предупредили – беги, иначе сядешь. Школьный друг Аркадий, осевший в Варшаве с малым бизнесом, оказался в Минске по своим делам и согласился вывезти его в Польшу на своей машине. Метелин ехал, скорчившись на заднем сиденье, и только на Брестском мосту перевел дух. На границу о его задержании не сообщили – значит, дело еще не решенное окончательно. Но и возвращаться опасно. Он осел в квартирке Аркадия. В одной комнате приходилось спать вчетвером: Аркадий с женой, их двадцатилетний сын Марк на диване и Метелин за ширмой на раскладушке. Да еще громадный дог, не желавший пребывать в одиночестве в прихожей или на кухне.

Метелину было стыдно, он метался по Варшаве, нуждаясь в жилье и деньгах. Гейм увидел его на заседании Международного ПЕН-клуба в гостинице «Европа». Потерянный бродил бежавший из страны глава Союза писателей Беларуси среди делегатов. К Гейму подошел Шерман, руководитель Белорусского ПЕН-центра.

– Видишь, в каком состоянии Метелин? Помоги ему.

– А что я могу сделать?

– Немцы дали ему чек на пару тысяч марок. Нужно обналичить. А он польского не знает.

Ну и пошли они с Метелиным по банкам. Это была эпопея. В банках вертели чек и всматривались в него как в явно поддельный документ. Сличали с паспортом Метелина. Гейм сначала бесился, а потом понял: поляки не доверяют гражданину из Беларуси. Что за человек? Откуда у него этот чек? Может, украл? Это было отношение к бывшим советским, как вообще людям подозрительным, во всяком случае не заслуживающим доверия. В третьем или четвертом банке Гейм взорвался. Он не стал говорить с рядовой сотрудницей и направился прямо в дирекцию. И буквально налетел на пухлого лысого администратора. Что вы себе позволяете? По какому праву не доверяете гражданину Беларуси, предъявляющему нормальный чек? Да знаете ли вы, кому выражаете недоверие? Это не кто-нибудь, а руководитель Союза белорусских писателей, бежавший от репрессий Правительства! Вы читаете вашу прессу? Знаете, кто такой белорусский Правитель? Ну вот. Да, последний диктатор Европы. А этот человек его политический противник. И вы такому человеку отказываете в доверии! Если ваш банк откажется оприходовать этот чек, я сообщу об этом польским журналистам. И репутация вашего банка сильно пострадает.

Администратор кому-то звонил, что-то выяснял. И, наконец, принял компромиссное решение. Триста марок в пересчете на злотые они выдадут Метелину сейчас. А остальную сумму после проверки чека в выдавшем его германском банке. Разумеется, пересылка копии чека по факсу в Германию и сама процедура сверки за счет клиента. Если все окажется в порядке, деньги можно будет получить через день.

– Вот чертовы ляхи, – бурчал Метелин, выходя из банка.
– А чего ты хотел? Ты для них никто. Какой-то беглый советский писатель.

– Почему советский?

– Потому что все мы, кто из хоть и бывшего Советского Союза, для них советские. А советские все могут, в том числе и чек подделать. Поэтому с ними ухо остро... А Беларусь, как пишут их газеты, находящаяся под властью *этого колхозника*, для них вообще целина советская, непаханная.

Теперь нужно было решать с жильем. Сидение Метелина буквально на головах у семейства Аркадия становилось просто неприличным. Прикидывая разные варианты, Гейм решил, что Метелину лучше всего пойти к Лешеку Миллеру, председателю Партии «Союз левых демократических сил» (SLD), а попросту перекрасившихся коммунистов. Партия влиятельная, имеет в сейме солидную фракцию, Миллер занимал одно время пост премьера.

– Понимаешь, они, бывшие коммунисты, лучше понимают советских людей. А ты ведь тоже бывший коммунист.

– При чем тут это? – обиделся Метелин.

– Как при чем? Расскажешь Миллеру, как Брежнев целовал тебя, знаменосца, на съезде КПСС.

– Совсе он меня не целовал.

– Ну обнимал. Какая разница?

– И не обнимал.

– Пойми, главное, что ты из близкого им стана. А что сейчас в противниках Правителя это тоже хорошо, поскольку они, польские левые, его тоже критикуют.

Расчет Гейма оказался верным. По распоряжению Миллера Метелину дали комнатку в гостинице, принадлежавшей SLD, в которой умещались лишь узкая койка, столик и душ за занавеской. Зато бесплатно и с телефоном добавок. Тесно, но девушку можно пригласить.

Метелин обжился, но немецкие деньги таяли, хотя он экономил и иной раз обедал у Гейма. А однажды Гейм устроил для него вообще шикарную халяву. Международный клуб, в котором Гейм был зарегистрирован как представитель вольного белорусского слова, организовал для журналистов-зарубежников поездку по святым местам, в том числе в Чен-

стохову. Гейм походатайствовал перед кураторшей поездки Агнессой: наш гонимый писатель тут пропадает, включи, пожалуйста, его в список. Три дня они катались по Польше, жили в приличных отелях, конечно, за счет МИДа, шефа этого путешествия. После литургии в трапезной на Ясной Гуре их накормили вкуснейшим постным обедом. Сдержанный и вообще достойно ведущий себя Метелин понравился спутникам. Зато Гейм умудрился во время поездки испортить отношения с Людмилой Львовой, корреспонденткой радио «Маяк». Та оказалась яркой сторонницей белорусского правителя. Конфликт произошел во время обеда в ресторане. Гейм выпил водки и что-то сказал о белорусско-российских отношениях. Людмила окрысилась. Гейм выжидательно посмотрел на Метелина, но тот уткнулся в тарелку.

Но нужно было что-то решать в принципе. Гостеприимство SLD не могло быть вечным. Метелину намекали. Телефонные звонки поэта в Минск прослушивались, и он просил Гейма, когда тот собирался очередной раз на короткий срок в Беларусь, поговорить с Шерманом об устройстве его по линии ПЕН-клуба где-нибудь в Европе. ПЕН давал приют гонимым писателям.

Гейм никогда не афишировал свои приезды и отъезды из Минска. Поэтому ему так неприятен был накануне очередного отъезда в Варшаву звонок дочери Метелина Насти: «Вы завтра уезжаете?» Она явилась на вокзал с каким-то свитером для отца. В том, что и его телефон прослушивался, он убедился в Бресте. В вагон явилась молоденькая таможенница, совершенно не стесняясь, достала из нагрудного карманчика листок и деловым тоном произнесла: «Так, кто тут по фамилии Гейм?» Совсем оборзели, подумал он. А эта школьная отличница спокойно продолжила: «Будем досматривать багаж». В купе, кроме него, была молодая женщина с ребенком. Отличница уселась на их полку и наблюдала, как сидевший напротив Гейм опорожнял сумку. На самом дне ее лежала папка с вырезками из газет. Они нужны были ему для работы над книгой о ситуации в Беларуси. Отличница как будто ждала эту папку.

– Полиграфические материалы перевозить нельзя, – сказала она текстом из инструкции. – Я это забираю.

– Еще чего! – возмутился Гейм. – Это мне нужно для работы.

Она тут же вызвала сержанта милиции, и вдвоем они препроводили его в здание вокзала. Был час ночи. Но в зале таможенного досмотра пассажиров царило оживление – десятки людей стояли у раскрытых на столах чемоданов, рядом с грудami вещей. Гейма провели в какой-то боковой коридорчик и заставили ждать у двери с табличкой «Начальник смены». Начальником оказался хмурый мужик лет сорока в форме таможенного ведомства.

– Ну что, – сказал он, – оставляем эту папку и едем дальше, Виктор Владимирович?

– С какой стати, – сказал Гейм, стараясь держаться почти на грани равнодушия, – это материалы, которые мне нужны для работы над книгой.

– Но печатные материалы запрещено провозить.

– Что за ерунда? Это вырезки из газет, которые продаются у нас в каждом киоске.

– Не все продаются.

Это было правдой. Две оппозиционные газеты выходили легально, но подписки и продажи через «Союзпечать» были лишены.

– Ну и, помимо газетных вырезок, у вас там еще кое-что имеется.

Да, имелась распечатка книги одной районной журналистки о молодых годах Правителя. Довольно любопытное по разнообразию фактов сочинение. Любвеобильность в отношениях с сельской интеллигенцией: молодые учительки, фельдшерицы, бухгалтерши. И тут же страсть к рукоприкладству. Сунул как-то кулаком в лицо нерадивому трактористу. Было судебное дело, которое замяли.

– Так оставляем и едем? – не совсем уверенно снова предложил таможенник.

Эта неуверенность придала Гейму вдохновения.

– Ну вот посмотрите, – сделал он жест в сторону полки со служебными справочниками и сборниками инструкций и законов, висевшей справа от стола, – вам же нужны для работы эти книги. А мне это, – кивнул в сторону папки нужно для работы над моей книгой. Неужели трудно понять?

– И что – интересная будет книга? – неожиданно поинтересовался хмурый.

– Надеюсь. Могу пообещать экземпляр с дарственной надписью.

– Ну раз вы отказываетесь оставить у нас эту папку, подпишите эту бумагу.

– О чем она?

– Это протокол, в котором зафиксирован ваш отказ.

– А папка?

– Возвращаем вам.

Прижимая к груди эту чертову папку и слушая неровные трепыхания сердца, он помчался к уходившему через пятнадцать минут поезду. Но сопровождавший дежурный сержант отвел его к находившейся в здании вокзала стеклянной будке пограничного контроля, у которой стояли два человека. Как только они показали в окошко свои документы, оно захлопнулось и задернулось занавеской буквально перед носом Гейма. Он напрасно стучал, никто не отзывался. Перед будкой на асфальте тянулась выкрашенная красной и белой краской двойная лента, означавшая пограничную полосу. Разрыв в ней был закрыт металлическим турникетом. За «границей» прохаживался сержант.

– Вы что не понимаете? У меня поезд! – кричал Гейм.

Сержант не обращал на него внимания. Это была, несомненно, провокация. Они решили поиздеваться над ним. А ведь еще должны вернуть паспорт. Подумалось: вот сейчас перескочу эту чертову линию и побегу. Он даже занес угрожающе ногу. Сержант выразительно положил руку на кобуру. Неужели будет стрелять? Пугает скотина. Они отодвинули турникет и сунули ему паспорт за три минуты до отхода поезда. Он вскочил в уже дернувшийся вагон. Это был урок от хмурого таможенника. Пришлось в купе на глазах испуганной пассажирки с ребенком мерить давление и пить таблетки.

Гейм с раздражением рассказал об этом приключении на брестском вокзале Метелину. «Настя твоя ни хрена не понимает... Болтунья... Вы завтра уезжаете? Вот и напоролся». Но Метелина занимала своя новость. В Варшаву

приехал главный редактор Правительевой газеты «Северо-Западный край» Изот Берестянский.

– Звонил. Сказал, что имеет поручение от Правителя сообщить, что я могу смело возвращаться, ничего не угрожает.

– Конечно, все чиновники должны быть на местах. И главный литературный чиновник тоже. А то ударился без спросу в бег. Интервью плохие даешь.

– Изот приглашает завтра на встречу в ресторане отеля «Бристоль». И тебя зовет.

– Я-то тут с какой стороны?

– Я сказал, что хочу придти с тобой.

XXX

Изот Хаймович Берестянский был колоритной фигурой белорусского политического небосклона. Его взлет начался в молодежной газете в перестройку, когда он зашумел своими скандально-разоблачительными статьями о проституции в Минске. А до этого был популярен бойкими репортажами о футбольных матчах находившегося на подъеме минского «Динамо». Газета имела громадный тираж, имя Берестянского было что называется на устах. Изот мечтал о славе Власа Дорошевича, и попросил у Гейма дореволюционные томики «короля фельетонистов». Хотел поучиться мастерству злословия. Менялась политическая ситуация, и Берестянский вместе с перестроечными силами пошел в политическую публицистику. У него уже была своя колонка в «Народной газете», органе Верховного Совета, которая так и называлась, – «Колонка Изота Берестянского». Разумеется, на первой полосе. Года три до прихода к власти Правителя Изот держал себя демократом. Но вот пришли выборы, и он заколебался. Встретив как-то Гейма, сказал: «В моем возрасте пора определяться и уже занять свою деревню». И очень скоро определился, пошел на службу к победившему на выборах Правителю. Тут же получил в награду пост главного редактора в Правительевой газете

«Северо-Западный край». Она и стала его «деревней». Незря накануне писал в своей колонке: «Правитель точно угадал желания и стремления белорусского народа». Гейм откликнулся на это пророчество фельетоном в «Европейском меридиане»: «Правитель, конечно, угадал, но точнее всех угадал, куда дует ветер, Изот Хаймович».

С той поры Изот затаил на него злобу. И когда Гейм однажды процитировал в «Европейском меридиане» нелепое высказывание в одной газете, ошибочно приписав его «Северо-Западному краю», Берестянский закусил удила и понесся вскачь. Его не удовлетворило публичное разъяснение ошибки. Он потребовал, чтобы Гейм лично явился в редакцию «Северо-Западного края» с извинением. Но принял Гейма его заместитель, плюгаво-белобрысый Мартысик, прозванный в журналистских кругах «Белой вошью». Он язвительно усмехнулся и, пряча бумагу с разъяснением в сейф, горделиво заявил:

– Мы могли бы подать в суд и разорить вас. А пока пускай бумажка полежит, может еще понадобится.

Верность Изота Правителю прошла тяжелые испытания. В молодежной газете «Знамя юных» была опубликована серия статей, в которых на свет божий вытаскивались непригляднейшие истории из молодых лет Берестянского, в том числе времен его службы в армии. Вспомнили, что он имя свое еврейское поменял. От всего этого очень дурно пахло. Но Изот понимал: обнародовать такие вещи можно только с разрешения одного человека, Правителя. Значит, он проходит проверку и нужно выдержать. Он и выдержал, выкупанный с ног до головы в грязи. Что было делать: Правитель давал ему понять, что может сделать с ним что хочет, – и вознести, и утопить в помоях. Надо терпеть. Терпеливость была вознаграждена. На больших чиновных совещаниях Правитель иногда обращался к его авторитету: «Вот и наш уса́тый человек не возражает». Разумеется, наш уса́тый человек не возражал и согласно кивал головой. Но недавно на одном таком совещании Берестянский не смог кивнуть, шею словно заклинило. Правитель ополчился против владельца популярного медиа-портала Заксера за «неправильную информацию». И тут же обрушился на губернатора Розенгольца:

– Я давно вам говорил, Михаил Иосифович, что нужно взять у нас всех евреев на учет. Полагаю, что и Изот Хаймович не возражает.

Берестянский окаменел. После истории со свинушником, в который евреи превратили Бобруйск, это была вторая громкая выходка Правителя по адресу евреев. Но тут, кажется, Он переборщил. Что значит взять всех евреев на учет? Мы что – в нацистском государстве живем?

Интернет ломился от комментариев. Известный блогер Липкович сообщил, что позвонил в приемную Розенгольца и поинтересовался, где он может зарегистрироваться как еврей и нужно ли уже прикреплять желтую лату со звездой Давида.

Да, жизнь Изота Берестянского была сложна. Последняя встреча с ним у Гейма произошла совсем недавно, на приеме в польском посольстве. Гейм пришел туда с пачкой экземпляров своей только что вышедшей книги очерков и репортажей на польские темы. Это было удобно – среди гостей были люди, которым он хотел подарить книгу. Берестянский, расположившийся как царек среди своих льстивых подданных, заметил:

– Может, и мне подаришь?

– Просвещайся! Но без автографа, как понимаешь, – Гейм ткнул ему книгу и направился к выходу.

Изот нагнал его в коридоре.

– Ну чем ты лучше меня? Чем вообще отличаешься? Кто ты такой? – неожиданно заорал он.

– Я отличаюсь от тебя тем, что не служу людям, у которых руки по локоть в крови, – отчеканил Гейм.

Берестянский задохнулся.

– Ты... ты про этих... пропавших... исчезнувших... А ты знаешь, что Клитко замышлял убить меня? И готовил покушение на самого...

– Готовил... Может быть. Я не знаю. Но убили его, Клитко. И Бондаря заодно, так?

– С Бондарем, конечно, поступили...

Но Гейм уже не слушал Изота. Он покидал посольство. Находиться рядом с этим типом было выше его сил.

И вот теперь он приглашает его на встречу в «Бристоле».

– Как ты представляешь себе, – спросил он Метелина, – в каком качестве я должен появиться на этой встрече с Изотом? Как твой полномочный представитель? Твое сопровождающее лицо?

Метелин напрягся.

– Да он зовет тебя независимо от меня. Вы ведь давно знакомы и были когда-то в неплохих отношениях.

Гейм задумался.

– Я не пойду к нему в «Бристоль». Если хочешь – приведи его в кафе Международного клуба журналистов. Завтра. Я буду там около семи вечера.

Парочка явилась без опоздания. Берестянский держал себя добрым дядюшкой, приехавшим навестить племянников.

– Да ты тут совсем свой. Всех знаешь, – сказал он, реагируя на разнообразные приветствия в сторону Гейма.

И тут же поинтересовался:

– А кто это только что сидел с тобой за столиком?

– Первый секретарь финского посольства.

– Прекрасные у тебя знакомые.

После первой рюмки водки Изот сообщил, что у него через два часа поезд и потому нет смысла затягивать.

– В общем, Анатолий, – сказал он, поворачивая грузным телом к Метелину, – тебе нужно возвращаться. Союз писателей без хозяина – это бардак.

– Это твоё личное приглашение? – нервно отозвался поэт.

– Это не приглашение, это поручение, сам знаешь от кого, я только передаю. Хотя и мое личное мнение такое же – тебе нужно возвращаться. Зачем давать лишний повод для тявканья врагам нашего государства? Беглый глава союза писателей – ну куда это годится? И в Варшаве тебе, поди, не сладко? Вот Виктор Владимирович, он все-таки устроен, преподает, профессор Варшавского университета, а ты кому тут нужен?

– Может, и мне какую-нибудь должностишку в Минске найдете? – вбросил Гейм.

– А что ты думаешь? Найдем! Ректором университета не сделаем, но о кафедре можно порассуждать. Кстати, ты какой здесь курс читаешь?

– Компаративистику.
– Не слышал. А что это такое?
– Сравнительное литературоведение. Славянские литературы...

– Ну так и у нас оно пойдет, почему нет?

– Потому! – отрезал Гейм.

– Как знаешь, как знаешь, – забормотал Берестянский. – Ну а у тебя-то, – он снова повернулся к Метелину, – никакой-такой компаративистики нет. Я ведь знаю, нищенствуешь здесь. Возвращайся, Толя. Никаких претензий к тебе не будет.

Метелин глянул на Гейма. Изот перехватил этот взгляд.

– Вон оно что? Профессор у тебя за главного советчика. Смотри, Толя, не промахнись.

– Я, собственно, не против, если Калгаев прекратит свои наезды, – уныло сказал Метелин.

– Можешь считать, что уже прекратил.

Метелин пошел провожать Берестянского до такси, а когда вернулся, первым делом спросил, насколько близко знаком Гейм с первым секретарем финского посольства.

– С Алто? Года три как знаем друг друга. А что тебе?

Подбирая слова, Метелин рассказал о хлопотах Шермана насчет его приглашения в Финляндию.

– Через ихний Пен-центр... Как гонимого белорусского писателя... Они уже и документ соответствующий прислали, а финны все с визой тянут. Ты не мог бы через этого Алто подтолкнуть дело?

Через несколько дней, встретившись с Алто в том же кафе Международного клуба журналистов, Гейм услышал от финна неприятную для Метелина новость.

– Видишь ли, – сказал дипломат, – у нас есть сведения, что ваш Метелин не столько гонимый писатель, сколько имеющий проблемы с белорусским уголовным кодексом. Какие-то финансовые растраты... Мы считаем, что негоже финскому ПЕН-центру приглашать даже на временное пребывание в нашей стране человека, которого преследуют по уголовному праву. Получается, что мы укрываем вора.

– Но ведь Метелин не объявлен в розыск и белорусские власти не требуют у поляков его выдачи.

- Пока не требуют.
- Что же делать?
- Мы можем дать ему визу по частному приглашению.

А там уж финский ПЕН-центр пускай решает.

Видимо, финны так пока и не решились. Гейм передал этот разговор Метелину. Тот отреагировал кривой усмешкой на финские сомнения относительно его уголовной ответственности.

- Ты тоже веришь?

Павел промолчал. А через день Метелин позвонил ему и сказал, что с деятелями финского ПЕН-центра поговорят авторитетные люди. И хорошо было бы, если бы Павел как-то довел эту информацию до своего друга Алто.

- Мы не друзья, - сказал Павел. - Добрые знакомые.
- Может, это еще лучше.

Павел нехотя пообещал. Но пошел крутёж дел, обещание подзабылось, а потом он попал со вторым инфарктом в клинику на Спартаньской.

Сосед по палате Юзеф приоткрыл дверь из коридора и поманил Гейма пальцем. Там он почему-то прошептал на ухо, что в гостевом фойе его ждут важные люди. Это был сюрприз. Метелин явился вместе с Анджеем Губцем. Когда спелись? Впрочем, они еще по Минску могли быть знакомы. Видимо, не теряет надежды. Метелин был возбужден и, суя Гейму коробку с какой-то бутылкой, сразу начал говорить:

- Конечно, тебе сейчас нельзя. Но потом... Мне говорили, что это французское вино помогает сердечникам. Слава Богу, что операция прошла удачно!

- Откуда ты знаешь? - хмуро спросил Гейм.

- Мы все волновались, - вступил Губец. - Звонили и Марине и сюда, в клинику.

Конечно, пришли они не только проведать его. Чуть замаявшись, Метелин сказал, что финский ПЕН-центр согласился принять его, но приехать в Финляндию он сможет все-таки по частному приглашению, и его уже помогли получить. Он глянул на Губца, видимо желая подчеркнуть значительность своих контактов. Теперь дело за визой. Поэтому хорошо было бы, если бы Павел позвонил Алто.

– А мы, – вроде как добавил Губец, – попросим, чтобы польский ПЕН-центр оплатил твою операцию.

– Только без этой торговли! – оборвал его Гейм. – Я сам решу свои дела. Алто позвоню, поговорю.

Губец сник. Кажется, он понял, что дело окончательно проиграно.

Вечером того же дня Гейм позвонил Алто и услышал, что с визой по частному приглашению у Метелина проблем не будет.

А потом, уже месяца через два после выписки Гейма, выяснилось, что Метелин быстро связался с Шерманом и вскоре получил частное приглашение. И тут же свалил, даже не попрощавшись с Геймом. Прошло месяца два. Метелин не давал знать о себе ни по телефону, ни по электронной почте. Гейм решил узнать что-то через Аркадия. Но школьный товарищ поэта разразился по его адресу такой жуткой, на грани истерики бранью, что даже знающий толк в мате Гейм оторопел. Оказывается, и с ним, вывезшим Метелина из Минска и приютившим его в Варшаве, поэт не только не попрощался, не поблагодарил за добро, но и из Финляндии ни разу не позвонил. Поток брани был настолько мощен, что Гейм не выдержал и положил трубку.

XXXI

Эмма Мейштович предупредила, что приедет на дачу вместе с первым секретарем посольства Игалем Амиром. У Гейма не хватило духу отказать настырной израильтянке. В посольстве знали о его прохладном отношении к Израилю, но на приемы приглашали, визу выдавали беспрепятственно. Собственно, прохладным было не отношение к Израилю, а к идее эмиграции. Его тройная еврейско-русско-польская кровь бунтовала и не желала соответствовать стандартам. Когда больше двадцати лет назад он по приглашению Тель-Авивского университета вел там небольшой семинар по славистике, у него была неформальная встреча со студентами, во время которой его спросили, почему он не переезжает

в Эрец. Вместо однозначного ответа он стал рассказывать о своем детстве, о разных предках со стороны матери и отца, рассказал о своем крещении. На другой день знакомый профессор, по инициативе которого состоялось приглашение Гейма провести этот семинар, выговаривал ему за эту откровенность. Да, мы светская страна. Но нечего хвалиться перед студентами своими славянскими корнями и крещением. Выяснилось, что это дурно может отозваться на репутации самого профессора, недавно переехавшего из России. За такого знакомого коллеги могут накидать ему черных шаров при переизбрании на ближайшем ученом совете. От этой истории на Гейма пахло чем-то советско-идеологическим. Возможная профессорская карьера в Израиле пригасла.

Подробности этой истории были отлично известны жирной Эмме и молодому, спортивно выглядевшему Игалю. И все-таки у них не было других аргументов, как воззвать к еврейской частице Гейма. За чаем на веранде, который пили с привезенным гостями печеньем, речь быстро зашла об изобретении профессора Гончарика.

– Мы знаем, что миниколлайдер и документы к нему находятся у Виталия Лавкунова, – безапелляционно заявила Эмма. – Мы предлагали ему сделку, но он упрямится. Видимо, набивает цену. Хотя мы предлагали хорошие деньги. Вы должны повлиять на него. Объясните этому болвану, что он подвергает человечество невероятной опасности. У него машину могут похитить. Мировой терроризм тщательно отслеживает появление подобных вещей и стремится заполучить их. А у нас изобретение профессора Гончарика будет за семью печатями.

Игаль Амир зашел с другой стороны.

– Виктор Владимирович, мы знаем, что вы человек мира. Но даже частица еврейской крови в вас бессмертна. Да какая частица? Ваша мать! Нам известна история ее многострадальной семьи. В вашем очерке, посвященном родне, который вы опубликовали в «Мишпохе», есть пробы, касающиеся некоторых братьев вашей мамы. Один из них нам удалось восполнить.

Игаль достал из кейса тонкую папку. В ней был всего один листок. Оказывается, в Институте Яд Вашем храни-

лась информация о пропавшем в войну без вести брате матери Шломо. Он был журналистом местной полесской газеты. Призванный в армию тут же попал в окружение, их часть была большей частью уничтожена немцами, уцелевшие разошлись в разные стороны. Шломо пробрался в родное местечко Житковичи. Три дня скрывался в хлеву неподалеку от своего дома, пока его не выдал сосед. Расстреляли его местные полицаи.

– Есть и другая хорошая новость! – радостно воскликнула Эмма. – Мы навели справки в Клэйм Конференс, организации, занимающейся выплатами евреям, пострадавшим от Холокоста. Вы жертва нацизма. Ваша мать была беженкой, была в эвакуации и в оккупации. Вы имеете право на ежемесячную компенсацию. Согласно программе «Дети Холокоста».

– Я не стопроцентный еврей, – хмуро заметил Гейм.

– Важно то, что ваша мать еврейка.

– Ну, у нее тоже, положим...

– Да-да, мы знаем, что ее отец был поляком. Но по документам она еврейка, по матери записалась. Ну о чем речь? Мы поможем с оформлением документов. Я думаю, что триста тридцать евро в месяц вам не помешают. Вот ваш студенческий друг Михаил Михайлович Астафьев в этом плане очень мудро поступил. А ведь тоже биография непростая.

Какая непростая? Уникальная по-своему история. Хотя были, были похожие случаи. Но люди почему-то до сих пор боятся раскрывать всю правду о себе. Вот Миша Астафьев, друг Гейма еще по университету, 1938 года рождения, носил до войны еврейское имя и еврейскую фамилию своего папы. А мама, Нина Васильевна, была русская. Работала она в парикмахерской Дома правительства в Минске, стригла и наркомов и простых граждан. Чем занимался его еврейский папа Миша не запомнил. Когда началась война, добежать они успели только до Борисова. Там их уже обгоняли немецкие мотоциклы. Повернули назад, в Минск. В гетто забрали всю их семью – отца с матерью и двоих детей, мальчика трех лет и пятилетнюю девочку. Но Нина Васильевна сумела доказать, что она русская, и ее выпустили вместе с детьми. Мальчик Миша внешне

был очень еврейстый, весь в папу, а его сестра Лиза пошла в маму, ну совсем русская девочка. Умная женщина, Нина Васильевна поняла, что детей нужно разделить. Мишу она отдала своей родной сестре Анне, а дочку оставила с собой. Анна каким-то образом сумела оформить документы, подтверждающие, что Миша ее сын, естественно, что и фамилия у него теперь была по матери – Астафьев. Еврейский мальчик Миша Астафьев рвался погулять на улицу. А тетя, которую он звал мамой, не пускала. Когда Миша спрашивал, почему его не пускают на улицу, маматетя отвечала: «Потому что у тебя глазки черные». Миша долго стоял перед зеркалом и разглядывал свои глаза.

Так он и прожил у мамы-тети все три оккупационных года в Минске. Когда наши пришли, Миша вернулся к маме. Папа погиб в гетто. Мама пошла работать в ту же парикмахерскую Дома правительства. Но кто-то донес, хотя это не было тайной, что Нина Васильевна стригла высокопоставленных немцев. В общем, за сотрудничество с оккупантами ей дали срок и выслали куда-то под Тюмень. Она уехала в ссылку с дочкой Лизой, а сына опять оставила сестре. Но у Анны Васильевны подрастали свои дети, ей было трудно, и она сдала Мишу в детский дом.

Далее начинается вариант повести Приставкина «Ночевала тучка золотая». Миша стал профессиональным беглецом. Число его бегств из разных детских домов подсчитать невозможно. Его ловили, возвращали, помещали в другие детские дома, но он снова бежал. «Собачьи ящики» поездов, скитания по деревням и поселкам, нищенство и воровство – такая была школа его детства. Вожаком целью был Ташкент, о котором пацаны постарше говорили как о рае. Впрочем, то, что это город хлебный было известно беспризорникам со времен гражданской войны. Миша считал, что добраться до Ташкента можно только через Москву, но именно там его ловили и возвращали в Белоруссию.

Как он выбился в люди, стал мастером спорта по тяжелой атлетике (наилегчайший вес), вообще вся его дальнейшая жизнь – это особая повесть. Гейма в истории Миши Астафьева занимало удивительное стечение обстоятельств. Если бы Нину Васильевну не арестовали, не было бы ее

следственного дела в архиве КГБ. А именно документы из этого дела, свидетельствовавшие, что еврейский или, точнее, полуеврейский мальчик прожил под чужой фамилией во время нацистской оккупации, стали основой для ежемесячной выплаты старику Мише со стороны Германии валютной компенсации как жертве нацизма. Хорошая прибавка к нищенской пенсии, на которую нынче не вытянешь ни на визиты к докторам, ни на лекарства.

Спустя десятилетия Миша Астафьев рассказал эту свою историю Гейму. Напрасно уговаривал Гейм его описать ее. Напрасно предлагал свои услуги. Неуверенность и даже какой-то страх чувствовались в его нежелании пускать даже под вымышленными именами поведать эту пронзительную правду своей судьбы. Это был страх перед прошлым, которое вдруг еще может как-то аукнуться. Ведь он так и живет не под своей фамилией и не под своим, данным при рождении именем. Значит, есть какая-то ненастоящность, призрачность его существования. Кто-то может вмешаться и тогда отменят германскую компенсацию. И вообще... Нет, это должно умереть с ним.

Эта загнанная внутрь еврейская память, она и рвалась наружу и одновременно пряталась в свою нору. Слова Гейне о том, что *«в конце концов, Израиль будет вознагражден за свои жертвы признанием во всем мире, славою и величием»* призывали держать голову выше. Но как было не согласиться с Жаботинским, предрекавшим, что из того, что *«евреи кинулись творить русскую политику, ничего доброго не выйдет ни для русской политики, ни для еврейства»*?

Но есть ведь у истории свой ход, свое развитие! Раз так было – значит этого не могло не быть! И погромы? Да, и погромы!

Талантливый белорусский поэт Бардудин жестоко окрысился на Гейма, когда тот на обсуждении какой-то книги позволил себе только упомянуть о бывших в Белоруссии еврейских погромах. Боже, как вскинулся этот поэт! Не было в Беларуси никогда еврейских погромов! Это в России... А белорусы всегда жили в мире и дружбе с евреями. Конечно, жили. Но кто тогда устраивал погромы в Гомеле в 1903 и в Белостоке в 1906 годах?

XXXII

По тогдашним официальным донесениям, это были битвы еврейских революционеров с властью в лице полиции и частей местного гарнизона. И, конечно, битвы иудеев с христианами. В Гомеле все началось на базаре из-за того, что торговка Хая Малицкая ткнула селедкой в лицо обывателю Шалыдкину, якобы выразившему неудовольствие качеством этой самой селедки. На боевой клич немедленно примчались сотни евреев, вооруженных дубинками, шкворнями и камнями. И началось избиение русских. Акт судебной палаты в эпических тонах сообщал о военных подвигах евреев: *«Евреи избивали русских и главным образом крестьян, которые... не могли оказать никакого сопротивления как по своей малочисленности по сравнению с еврейской массой, так и по отсутствию средств к самозащите... Потерпевшие в этот день были исключительно русские... Много раненых и избитых»*. Но какие русские в Гомеле начала двадцатого века? Это, конечно, белорусы, которые тогда шли за русскими. В том же акте сообщалось, что *«насилие над христианским населением продолжалось почти до самого вечера, и лишь с прибытием воинской команды скопища евреев были рассеяны»*.

Зато на другой день «русские» попытались взять реванш. 1 сентября христиане города решили отомстить евреям. Когда после гудка на обед железнодорожные рабочие стали шумно выходить из мастерских, полицмейстер велел перегородить мост, ведущий в город. Тогда рабочие растеклись боковыми улицами, и там полетели камни в окна ближайших еврейских домов, а тем временем начали уже организовываться большие группы евреев, они бросали палками и камнями в рабочих, двумя кирпичами попали в спину полицейскому приставу, который упал и потерял сознание. Раздались крики «Жида убили пристава!», после чего с особой ожесточенностью начался разгром еврейских домов и лавок. Подоспевшая солдатская рота разделила две толпы и обратилась фронтами к той и другой, чем и предотвратила кровопролитие. Большой знаток еврейской темы А. И. Солженицын пишет, что

евреи бросали камни в солдат и стреляли из револьверов, «осыпая бранью военных». Командир роты просил раввина Маянца и доктора Залкинда успокоить евреев, но «и их обращение к толпе успеха не имело, и евреи продолжали неистовствовать»; удалось оттеснить их только с ружьями наперевес. Главный успех роты был в недопущении «громил в центральную часть города, где расположены богатые еврейские магазины и дома». Тогда толпа погромщиков растеклась по окраинам. Полицмейстер снова увещевал, но ему кричали: «Жидовский батька, ты нас предал!» Залпами роты, и в русских и в евреев, погром был прекращён, но спустя два часа возобновился в предместье, был снова залп в погромщиков, несколько убитых и раненых, и погром прекратился. Но в центре Гомеля, по тем же донесениям властей, еще находились «еврейские скопища, державшие себя крайне вызывающе и оказывавшие сопротивление войскам и полиции. Так же, как и 29 августа, все они были вооружены, многие – револьверами и кинжалами и *«даже в войска, призванные для защиты их имуществ, стреляли из револьверов и забрасывали их камнями»*; *«на шедших в одиночку русских, не исключая и солдат... нападали с оружием»*, убили крестьянина и нищего. За день получили «смертельные повреждения» три мещанина-еврея. К вечеру беспорядки прекратились. Погибло 5 евреев и 4 христиан. *«От погрома пострадало около 250 еврейских торговых и жилых помещений»*. У евреев *«громадное большинство активно действовавших масс состояло исключительно из молодёжи»*, а многие лица «более зрелого возраста», а также и дети, подавали камни, доски, брёвна. Еврейский народ дал отпор погромщикам и поддерживавшим их властям. Зеев Жаботинский писал об итогах Гомельской битвы: *«Еврейская улица до Кишинева и еврейская улица после Кишинева – не одно и то же... Позор Кишинева был последним позором. Затем был Гомель... Скорбь еврейская повторилась беспощаднее прежней, но позор не повторился»*. Кишинев в 1903 году стал символом жутких и безответных убийств евреев. Гомель показал их силу и умение сопротивляться.

В Белостоке весной 1906 г. события развивались по другому сценарию. Среди 66 тысяч населения более

40 тысяч составляли евреи. И это был революционный порох, готовый взорваться в любую минуту. Анархисты-бомбисты разогревали атмосферу. Анархист Нисель Фарбер «бросил бомбу в полицейский участок», ранил двух городских, писаря, убил «двух буржуа, случайно находившихся в канцелярии», при этом погиб и сам. Восемнадцатилетний Арон Елин бомбой тяжело ранил помощника полицмейстера, пристава, двух околоточных и троих городских. Спустя два дня его застрелил караул Владимирского полка при попытке покушения на помощника пристава Шеффера. 27 мая 1906 года революционеры убили городского Шеймана, а через день 29 мая рядового 64 пехотного Казанского полка Арсеньева. В те же дни был убит белостокский полицмейстер Павел Деркачев. Это произошло на Суражской улице, где была сосредоточена еврейская анархистская организация. После этого поползли слухи о готовящемся погроме.

1 июня 1906 года должны были состояться католическая и православная процессии. Был кем-то пущен слух, что 1 июня во время процессии евреями будет брошена бомба. Накануне в город пришёл дополнительный состав полиции и войск, подчиненных командующему 16-й пехотной дивизии генералу Богаевскому.

По-видимому, бомба действительно была брошена – некий анархист бросил ее в военный патруль на оживлённой улице. Разорвавшийся снаряд ранил офицера, четырёх солдат, самого бомбометателя и убил пропагандистку из БУНДа. Затем стрельба и метания бомб были направлены в сторону процессии.

Из рапорта временного генерал-губернатора Белостока и уезда фон-Бадера военному министру: «1-го июня в 12 часов дня по Александровской улице шла православная процессия. Когда она поворачивала на Институтскую улицу, то из дома Янкеля Рахитиса, находящегося на углу, неизвестные евреи бросили бомбу и начали стрелять из револьверов. Бомбой убит один христианин, ранено двое. Пулями убито 3 и ранено 3. Сейчас же прибыла рота, которая находилась в полицейском управлении, и начала обстреливать дом. Процессия продолжала идти дальше. Вслед за сим было брошено ещё 2 бомбы на Липовой улице,

по пути следования католической процессии, и всё время евреи продолжали стрелять из окон и с балконов.

После этого христиане начали громить лавки и избивать евреев. Были вызваны ещё войска – всего более двух полков пехоты и вся кавалерия.

По рассказам раненых, две толпы евреев, шедшие со стороны улицы Старобоярской и Институтской, напали на крестный ход. Первые выстрелы были произведены в процессию из еврейского дома Маковского, а затем брошены две бомбы, убившие наповал Николая Козубая, трёх женщин и двух детей. Среди раненых бомбой были жёны городских. Таким образом, «полицейские-провокаторы», по мнению евреев, бросили бомбы в собственных жён. На перепуганную процессию набросилась толпа евреев, отнимала иконы, из которых одна была прострелена пулей, и бросали их на землю. Одного богомольца ударили образом по голове.

Народ, оставив иконы и хоругви, разбежался, но тут подошли католики от костёла и, вырывая колья из ограды, стали громить евреев. Всех, кто выбегал из дома Маковского, убивали на месте. Подоспевшие войска стали оттеснять толпу, но из окон дома евреи открыли по ним пальбу из браунингов. Солдаты стали отвечать залпами, очутившись между разъярённой толпой и еврейскими дружинниками. Толпа христиан, состоявшая из жителей Белостока и окрестных сёл, в числе нескольких тысяч человек, громила еврейские дома и лавки.

В течение 1 июня чернь грабила еврейские лавки и расхищала товары, солдаты же обстреливали улицы, когда появлялись евреи; последние избивались и на вокзале, несмотря на присутствие властей».

Корреспондент «Нового Времени» сообщал: «В ночь 2 июня было два пожара. Около 7 часов вечера евреи засели на лесопильном заводе по Николаевской улице. Они сообщались с домиком, стоявшим в поле. Когда 10 солдат окружили завод, где начался пожар, по ним открыли огонь из браунингов. Солдаты отвечали залпами. Здесь было убито 6 евреев и в числе их один из главарей – парикмахер Панде. Около 10 часов вечера по участку, где находились полковник и другие офицеры, был открыт огонь из смежного сада. Пули летели в открытые окна. Пристав Карницкий донёс, что дружинники заняли сад реального училища и покинутый завод рядом с отделением Государственного

банка, в котором находились значительные суммы денег. Под выстрелами полковник Войцеховский с 30 солдатами бросился к заводу, но оттуда уже началась револьверная пальба и показался огонь пожара. Дружинники не подпускали пожарную команду, вызванную для тушения. После нескольких залпов они оставили горевший завод, перешли вброд мелкую и узкую речку Белую, и с другого берега началась пальба пачками из браунингов. Евреев было до 500 человек. На Белой было настоящее сражение. В это время на горевшем заводе произошёл взрыв склада патронов, оставленного дружинниками. Эхо взрыва было так сильно, что многим показалось, будто в стороне расположения Казанского полка происходит бой.

Весь день 2 июня продолжался погром, но потом организованные отряды еврейской «самообороны» перешли в наступление и стали чинить расправу над христианами. Войска одинаково защищали евреев, православных и католиков, но им приходилось стрелять по вооружённым дружинникам, до сих пор нападающим на патрули. Евреи хотят, чтобы удалили войска. 3 июня брошена бомба в патруль Углицкого полка. На Базарной улице, вторую бомбу бросили в полицейский наряд, но она не разорвалась».

Сообщалось в официальных донесениях, что солдаты дали залп по еврейской больнице. 2 июня полиция обстреляла дома, где сосредоточились евреи; в это время погибли многие люди как в домах, так и на улицах. Белостокский губернатор уверял, что 2 июня «евреи на окраинах города и в ближайших деревнях нападали на христиан». Он же сообщал, что «ночью со 2-го на 3-е июня и особенно с 3-го на 4-е июня происходила усиленная стрельба. Злоумышленники обстреливали преимущественно правительственные учреждения, как-то: государственный банк, почту, казначейство, штаб 4-й кавалерийской дивизии, полицейское управление и полицейский участок № 3. Обращают на себя внимание зверства солдат по отношению к мирным евреям. Так, 3 июня солдаты, обыскивающие дома в поисках евреев, обнаружили на чердаке одного дома прятавшихся там трёх детей и старика. Старика и девочку они застрелили, а обоих мальчиков тяжело ранили. Рассказывают, что молодого еврея солдаты добивали штыком и прикладом. Солдаты избивали евреев палками с гвоздями».

XXXIII

Вечером Гейм достал хранившуюся в его библиотеке брошюру 1926 года со скромным названием «Еврейские погромы 1921–1926 гг.». Издание, между прочим, московского акционерного общества «Школа и книга». На заседании Минского городского совета 10 января 1919 г. были оглашены «результаты обследования мест, пострадавших от набегов банд» ныне героически воспеваемого националиста генерала Балаховича.

Ужасом веяло от сухих протокольных строк.

Мозырь. Все без исключения еврейское население г. Мозыря, насчитывающее 11000 человек, подверглось повальному ограблению. Разграблены - белье, одежда, посуда, домашние вещи, коровы; забраны все инструменты у рабочих и ремесленников. Убито 32 человека, изнасиловано свыше 300 женщин, в том числе девочки от 12 до 15 лет, а также беременные и только что родившие женщины.

Ст. Птичь. Все еврейское население (200 человек) разграблено; забраны все инструменты, человеческих жертв не было, изнасиловано несколько женщин.

Дер. Житковичи. Еврейское население в деревне и на станции составляет 600 чел. Ограблено 400 человек, убито 4, изнасиловано 7 женщин.

Мест. Туров. Еврейское население до 4000 человек. Забрано все имущество. Убит 71 человек, в том числе жители окрестных деревень, часть из них убита балаховцами, а часть поляками в то время, когда евреи хотели спастись от балаховцев и скрыться за демарклинией. Изнасиловано 100 женщин.

Мест. Петриков. Еврейское население в 2200 человек (христианского населения в два с половиной раза больше). Все еврейское имущество разграблено, много домов сожжено. Убито 45 человек, в том числе евреи из окрестных деревень. Изнасиловано до 100 женщин, из которых 10 заразились, 30 забеременели.

Мест. Копоткевичи. Из еврейского населения в 1600 человек большая часть ограблена. Местечко в 1915 году пострадало от пожара, в 1919-20 гг. было охвачено тифозной эпидемией. 60 семейств остались без родителей. В окрестных деревнях убито 44 человека. Изнасиловано 15 женщин.

Общая сводка. Ограблено 20550 человек. Убито свыше 300 человек. Изнасиловано свыше 500 женщин.

А это описание погрома в деревне Ковчицы Бобруйского уезда:

16-го июля 1921 г., в 12 час. дня появились бандиты в м. Ковчицы, где насчитывалось 150 еврейских семейств, занимающихся главным образом земледелием и отчасти ремеслами. К бандитам балаховцам присоединились крестьяне из ближайших сел, вооруженные топорами, лопатами, пилами, ножами, серпами и ломами; огнестрельного оружия у них не было. Собрав все население в квартиру Шаи Ренбурга, они начали их там зверски убивать, не щадя ни женщин, ни детей. Бандиты выводили пленников по одному во двор и там сразу убивали холодным оружием, вследствие чего запертые в доме совершенно не знали о происходящем во дворе. Погром носил самый зверский характер. У женщин распарывали животы, вырезывали груди, топорами разбивали спинные хребты, рассекали пополам, или отрезывали конечности. Некоторых девушек увели в лес, и они больше уже не вернулись. Погром продолжался 6 часов. И в результате оказалось 84 человека убитых. Раненых 80 чел. - в том числе 50 тяжело раненых, из которых несколько человек по доставлении в Бобруйскую больницу скончались. Осталось много сирот.

Погром в местечке Большие Городятчи:

23-го ноября 1920 г. в деревне Б. Городятчи Мозырьского уезда вспыхнул еврейский погром, организованный балаховцами при участии местных дезертиров. Бандиты оцепили деревню и никого не выпускали. Из 85 человек еврейского населения убито 72 человека, в том числе 55 трупов найдено обезглавленными. На сараях и стенах домов были найдены куски мяса и мозгов. По этому делу было Советской властью привлечено 70 человек, преданных суду военно-революционного трибунала. 20 человек было расстреляно, а остальные приговорены к заключению на различные сроки.

Погром в Копаткевичах:

9 июля 1921 года стало известно, что банда в 100 человек приближается к местечку Копаткевичи. Подавляющее большинство еврейского населения оставило местечко и ушло по направлению к ст. Птичь, находящейся в 18 верстах от местечка Копаткевичи. Часть же населения осталась, надеясь укрыться у местных

крестьян или в поле во ржи. 10 июля на рассвете банда числом человек в 80, в том числе половина конных, ворвалась в местечко и немедленно приступила к резне еврейского населения. Этот отряд был хорошо организован и представлял собою одну из банд Булака-Балаховича. Все они были сильно настроены против евреев и стремились, во что бы то ни стало, резать и убивать. Когда им предлагали деньги или ценные вещи, они отвечали: «Нам душа твоя нужна». Бандиты рассыпались по всему местечку, забирая евреев и вытаскивая их из укромных мест. Повидимому, кто-то следил за несчастными, когда они прятались, и затем указывал бандитам, где кто спрятан. Почти все были убиты сабельными ударами. Некоторые рассечены крестообразно. Многим предвзательно отрезали отдельные части тела. У тринадцати лиц отрезаны половые органы. Некоторых пытали перед смертью, заставляя пить серную кислоту. В квартире Нохума Каплана была устроена бойня. В этот дом приводили схваченных евреев. Здесь их пытали и убивали. К моменту осмотра квартиры вся внутренняя дверь до половины была залита кровью. Также был пропитан кровью диван, на котором резали несчастных. На полу валялись книги, покрытые толстым слоем запекшейся крови. Вблизи валялся тяжелый эмалированный кувшин, служивший также орудием убийства. В углу образовалась целая лужа высохшей человеческой крови. В этих ужасных мучениях окончили свою жизнь в течение нескольких часов 120 человек, почти все ремесленники и рабочие.

Показания Хаси Кветной, 40 лет, из деревни Терево Мозырского уезда:

9-го вечером мы узнали, что идет банда балаховцев. Получилась телеграмма о прибытии войск. В местечке решили, что надо остаться. Мой старший сын ушел с самообороной. Оставшиеся разошлись прятаться, кто куда. Мы пошли в рожь ночевать. Я пошла с женой М. Эренбурга. На рассвете нам сказали, что пришел Шлейма Гошиц с нашими войсками. Будучи уверены, что это действительно так, мы встали и ушли. По дороге мы услышали стрельбу и за нами стали гнаться. Нас поймали и поставили напротив квартиры Анцеля Гинзбурга. Оставив около нас постового, остальные бандиты пошли к квартире Гинзбурга. Выломав окно, несколько бандитов ворвалось в дом. Там они убили жену А. Гинзбурга и одну соседку, третью ранили, а Анцеля

Гинзбурга выбросили окровавленного на улицу. Его присоединили к нашей компании и избивали. Он им говорил: «Я уже вам все отдал - золото, деньги, вещи; я не приверженец Троцкого». К этому времени к нам присоединили еще несколько человек. Нас, человек 15, погнали к Носону Каплану. По дороге нас избивали. Вогнали нас в квартиру. У дверей встал крестьянин с винтовкой в лаптях и свитке. Женщины уселись на кушетку. Скоро в квартиру согнали еще около 50 человек, большинство женщин. Были мужчины и дети. Мужчины уселись на полу. К квартире съехались все конные, около 25 человек. Лошадей привязали к забору, и все всадники вошли в дом. Всех женщин, наиболее молодых, вводили в отдельную комнату, где стояла кровать, и, укладывая всех поперек кровати, друг около друга, их изнасиловали. Женщины выходили после каждого изнасилования и усаживались, окровавленные, на кушетку. Всех женщин брали в комнату по 3-4 раза. Двух девушек растерзали и выбросили. Прибежал «пан-капитан», схватил большой кувшин и стал им избивать всех по голове. Кровь брызгала по сторонам. В особенности избивали Анцеля Гинзбурга. В комнате изнасиловали 15-летних девушек. Меня также 3 раза брали в комнату, но каждый раз я им указывала, что я им не интересна (очевидно, из-за месячных очищений), и меня отталкивали. После все разошлись, остались только двое нас охранять. А. Гинзбург нам сказал: «Ведь я еще совсем не молился». Тогда Броха-Гиша Эренбург, достав немного воды, дала ему. Он помыл руки и начал молиться. В этот момент вбежал бандит и, застав его молящимся, начал кричать: «Уже начал болтать! Нельзя болтать по-еврейски». Гинзбург стал читать предсмертную молитву вслух для мужчин, а Броха-Гиша для женщин. Капитан, вбежав, спросил: «Кто там болтает»? - и стал избивать Гинзбурга. Последний уже лежал на полу, взял брошенный кувшин и приложил его к своим ранам, и кувшин наполнился кровью. Тогда один бандит схватил кувшин и стал им еще больше избивать Гинзбурга. Бандиты приносили водку в бутылках и, выпивая каждую из них, разбивали о головы евреев, приставляя их каждый раз к дверям комнаты. Откупоривая каждую бутылку, они сначала давали евреям пробовать... Стали выводить по два на улицу; раньше мужчин. С обеих сторон стали у дверей двое - один с шашкой, другой с дубинкой. И, выпуская их таким образом из квартиры, тут же убивали. Убитых выбрасывали на улицу. А.

Гинзбурга и еще двух вывели на улицу и напоили их по полстакана серной кислоты. После достали нож из соломорезки и тупой стороной стали медленно резать шею Гинзбургу. Эту операцию бандиты сопровождали хохотом. После стали выводить женщин. Брохе-Гише стала искать воды, сказав: «Я отправляюсь на тот свет, надо руки вымыть». В этот момент один бандит схватил кувшин и ударил ее по голове. Она от испуга «упачилась», стала вытираться, сказав: «Мое платье – ведь мой саван, в нем я буду похоронена, а саван должен быть чистым». Ее вывели и тут же убили шашкой. Ко мне подошел бандит и сказал: «Ты видишь, сколько посреди улицы лежит убитых, смотри, чтобы ты дала много золота». Я ответила: «Я дам много». В комнате осталось 5-8 человек. Меня с детьми и женой Эренбурга отправили ко мне домой. Я их завела в сарай, вынула драгоценности, деньги и отдала им. Им это было мало, и они стали требовать еще. Я им указала место, где были зарыты мои и моей сестры вещи. Они вырыли, но вещей не трогали, а просили 10.000 р. «николаевскими». Я им сказала, что больше у меня нет денег. Один из бандитов ответил: «Мы тебя сейчас в эту яму похороним», – а другой схватил мерку и ударил моего сына Михеля, 10 лет, по голове. Другой схватил топор, только что принесенный из моей квартиры, и ударил меня по голове. Я упала навзничь в яму. Тогда он начал избивать топором второго сына, Илью, 14 лет, который также упал на меня в яму. Михеля еще раз ударили, и он тоже упал на нас. Эренбург хотела убежать, но тут же ее ударили топором по голове. Череп разлетелся, и она упала на нас. Я лежала внизу. За шумом в голове. Очнувшись, я увидела, что светло. Узнала своих детей, продвинула в сторону убитую Эренбург и вытащила детей. Один из них крикнул: «маменька», а второй, Михель, лежал, как убитый. Что делать? Воды нет. Своих ран я не чувствовала: я решила спасти своих детей. Все равно, пойду в дом. На улице – шум и крики. Я подошла к дверям. В моей квартире в то время ломали шкафы. Я тут же обратно в сарай, схватила Михеля и спряталась с ним в углу. Полежала минут 10. Вдруг слышу свистки. Это бандиты стали созывать друг друга и собираться. Я решила еще раз сходить в дом за водой. На этот раз бандитов уже в доме не было. Я застала своих двух племянниц ранеными. Напоив их, я сейчас же побежала с водой к своим детям. На улице крики еще все продолжались. В сарае я не застала старшего сына: он через какую-то дыру вы-

полз в рожь. Я об этом не знала. На улице утихло. Через щель я увидела фельдшеров Дубицкого и Афанасьева. Я сейчас же к ним бросилась с просьбой оказать помощь моему ребенку. Насильно я их потащила к Михелю. Дубицкий сделал ему укол, и он сейчас же застонал. Они ушли. В это время я увидела Эстер Гинзбург. Она была одна и производила впечатление помешанной. Было жутко. Она меня поволокла к соседу на чердак. Я почувствовала боль в голове. Мы слезли, встретили 2 русских девушек, которые мне сообщили, что мальчик мой жив. Они имели в виду Элью. По дороге мы встретили раненую Гиту Гинзбург в гряде трупов их семьи. Она умоляла проходивших мимо фельдшеров о помощи, но те, проходя, ответили, что помощь не нужна: они все равно отойдут. Тут подошла жена попа и подобрала раненого ребенка Э. Гинзбург; среди трупов и раненых я узнала своего Элью; начала просить попадью убрать Гиту Гинзбург и моего сына. Я пошла в ближайший еврейский дом, взяла подушки и простыню и мы их отнесли в сад. Попадья принесла клубники, напоила их. Все начали понемногу приходить в себя. В этот момент стало опять тревожно... Говорили, что бандиты опять идут. Крестьянки стали удирать к себе в дома. Я также хотела с ними, но они меня в дом не впускали: «Убьют нас вместе с вами», - ответили они. Одна русская девушка указала мне на свой огород и спрятала меня во ржи, принесла мне воды и хлеба и ушла. Опять открылась стрельба. Я лежу. Через несколько минут девушка эта вернулась (я ее не знаю) и сказала: «Не бойся, голубка, лежи смело: то пришли наши солдаты». Я поднялась и поплелась искать своих детей. Пришла в сад к раненому сыну, затем в сарай к контуженному. Он стонал тихо. Пришла сестра милосердия из отряда Карпова с фельдшером Босковичем, стала нас перевязывать и забрала нас в больницу. Там мы переночевали. На следующий день приехали наши врачи.

XXXIV

Гейм звонил Барадудину, читал ему выдержки. Тот орал, что фальшивка, что Балахович был благороднейшим человеком, что в его корпусе воевал еврейский батальон. Наверное, так оно и было. Мережковский и Гиппиус тоже

носились с Балаховичем. Мережковский писал о нем: «Тут сила не в словах, а в самой личности, лице Балаховича – этом смугло-румяном, обветренном, худом, костлявом, крепком, как бы железном, грубом и тонком, детски-простом и страшно-сложном лице с болезненной складкой в губах, выражением почти беспомощной слабости, и с глазами мутно-голубыми, жутко-пьяными, – да, пьяными, но чем? Вином, кровью, славою, смертью? Нет. Так чем же? Не знаю. Может быть, судьбою, – своею судьбою, малою или великою, но которую надо ему совершить до конца. Где будет конец, где погибнет «партизан» Балахович – в Бобруйске, Смоленске, или дойдет до Москвы «главверхом», я опять-таки не знаю. Знаю только, что он уже идет – летит и долетит до конца, не остановится. Вот этим-то концом он, может быть, и пьян.

Во всяком случае, это – лицо необыкновенное, «необщее», в какой-то мере «гениальное» или, как любил выражаться Гете, «демоническое»...

Балахович – первый вал новой стихии, восстающей на большевизм. Может быть, первый вал упадет и рассыплется пеною. Но, если не первый, не второй, не третий, то девятый – и до Москвы докатится.

Балахович поднял трехцветное знамя рядом с Белым Орлом. Польша и Россия этого никогда не забудут.

Великий польский демократ Иосиф Пилсудский понял Балаховича, и великий русский революционер Борис Савинков тоже понял его.

Стихия без сознания, Балахович без Савинкова ничего не сделает. Но все сделает сознание со стихией. Савинков с Балаховичем».

В общем, «зеленый генерал» был гениальной, хотя и демонической личностью. И как-то уместалась и эта его гениальность и подчиненный ему еврейский батальон с жуткими еврейскими погромами. И Савинков, старый эсеровский боевик, замарался в еврейской крови.

Бабушка Мейта рассказывала юному Вите Гейму, как Савинков поселился у них на квартире в Мозыре. «Хай Адонай! – Жив Господь!» – не раз повторяла она во время этих рассказов. Бабушка работала в еврейской больнице,

и потому они заподозрили, что в доме есть спирт. Да, была склянка с грязным раствором, оставшимся после промывания шприцев. Они ее и выпили с каким-то полковником. Вместе с бабушкой тогда была русская медсестра Аладьина. Савинков стал приставать к ней: «Вы еврейка или русская?» Аладьиной пришлось показать свой крест. «А эта ваша коллега, безусловно, еврейка?» «Она закончила курсы медсестер, и у нее муж поляк», – только и нашлась поначалу Аладьина. «Он служит у Пилсудского, – подхорунжий. Есть документ», – добавила Аладьина, чуть не закрывая собой Мейту.

«Не все ли равно, – сказал Савинков. – Впрочем, еврейскую жену поляка, служащего у Пилсудского, мы, так и быть, не тронем».

Ночь была ужасная. Из соседних домов доносились жуткие крики. Солдаты несли Савинкову золотые вещи. Самые ценные он оставлял себе, остальное отдавал грабителям. Одному солдату он сказал: «У меня нет носовых платков». «Слушаюсь, господин министр», – ответил солдат и через полчаса принес дюжину шелковых носовых платков. А полковник велел принести ему сапоги, и солдат взял из-под кровати сапоги моего брата Лазаря. В дом зашел живший у нас доктор Томашевский, ему было трудно справиться одному в больнице. Савинков завел с ним разговор. Он был пьян и начал похвастаться, что состоит в партии эсеров с 1902 года и был министром при Керенском. Его и сейчас нужно называть только так – господин министр. Он стал извиняться перед доктором за то, что загрязнили квартиру. Мы тут выпили немного вашего спирта. Но, будьте уверены, все будет компенсировано вином и хорошим коньяком. Сюда уже идет наш обоз, привезут много всего.

Доктор стал говорить, что мелочи его не волнуют, только бы медицинские книги не пропали. Савинков стал заверять его, что он и сам культурный человек и к тому же писатель, поэтому ни одна книга не пропадет.

– А вот как бы это местного раввина попросить, чтобы он воспрепятствовал распространению слухов о том, что наш корпус устраивает еврейские погромы?

– Здешний раввин, – сказал доктор Томашевский, – уже

два года не встает с постели, паралич. Что касается погромов, господин министр, то ведь они и в самом деле идут.

– Да, были некоторые эксцессы, – согласился Савинков, – но их не нужно раздувать. В Пинске на двадцать тысяч населения было всего тридцать жертв. А что писала английская и американская пресса? И вообще, мы даем всем свободу, без различия национальности и вероисповедания. У нас нет принудительного набора, наша армия состоит из добровольцев. Мы увеличиваем свои силы за счет красных, переходящих на нашу сторону. Каждый наш солдат идет с нами только до места своего жительства, а там мы его освобождаем. Наша армия растет, а красная уменьшается, ибо переходит к нам; мы победим безусловно. К рождеству, не позже крещения, будем в Москве. Вы врач, но мы вас не мобилизуем; захотите у нас служить – пожалуйста. Передайте еврейскому населению, – ведь вы врач, вас все знают, – что если у них остались коммунисты, пусть их выдадут. Мы всех коммунистов не вешаем, идейных мы вешаем, а примазавшихся мы оставляем в покое. Что касается советских служащих, то мы их не трогаем. Если не выдадут коммунистов и таковые будут обнаружены, то будет жестокая расправа с укрывателями. Скажите, доктор, кто здесь остался из коммунистов?

– Я членом партии не состою и не всех знаю, – ответил Томашевский, – по дороге из больницы сюда я не видел ни одного коммуниста и поэтому ответить не могу.

Савинков зажег сигару.

– Ночью происходили недоразумения, эксцессы, неприятности, но будьте уверены, все населению будет компенсировано, только чтобы не было передано прессе. В конце концов, делали это не наши, а перешедшие на нашу сторону красноармейцы; наши же совершенно не виноваты. Мы вошли в город озлобленные. Под Романовной большевики дали нам бой, и представьте себе, что шедший впереди комиссар – он был убит – оказался евреем. Понятно, что, вступая в город, наши начали мстить. А во всем этом виноват наш прапорщик Цейтлин: он должен был в город войти первый со своим отрядом и охранять еврейские лавки. У него большой еврейский отряд, восемьсот человек. Но он

струсил и опоздал. Я обогнал его на автомобиле. Потому все так и случилось.

Доктор Томашевский досадливо махнул рукой.

– Большевики пять раз занимали Мозырь, и ни разу не было грабежей благодаря тому, что комиссары удерживали своих солдат.

Савинков развел руками.

– Меня, доктор, обвиняют в антисемитизме. Помилуйте, какой я антисемит, ведь я женат на еврейке! Теперь, доктор, нельзя ли раздобыть немного спирта, я совсем не пью, но для офицеров нужно, у нас производство идет. Будьте любезны, мы вам коньяком уплатим.

Три офицера пошли в больницу за спиртом. Перед этим они спросили Савинкова:

– Если не будет спирта, мы можем покончить с этим жидовским защитником?

Савинков крикнул: «Не смейте!»

Спирта в больнице не нашли. Бабушка Мейта его хорошо спрятала. Но нашлась бутылочка с денатуратом. Хотя им сказали, что это яд, они его все равно выпили. Рассказывая об этих давних и жутких событиях, бабушка часто повторяла *аф идиш*. Но *маме лошн* был неведом Вите, хотя он чувствовал его магическую силу.

Через несколько дней Савинков созвал собрание евреев в гимназии. Было обещано, что евреев больше не тронут, если они не будут поддерживать коммунистов. А как не поддерживать? Бабушка Мейта помнила поговорку тех времен: «Ленин и Троцкий дали муки на клёцки.

XXXIV

– Ленин и Троцкий дали муки на клёцки, – неожиданно сказал Гейм

– Что? – воскликнул Игаль. – Какие клёцки?

– Он смеется над нами! – закричала жирная Эмма.

– Ленин и Троцкий дали муки на клёцки, – повторил Гейм.

– Это ваш ответ? – спросил Игаль.

– Да, это мой ответ, – обреченно сказал Гейм.

Он знал, что насчет жены-еврейки Борис Викторович Савинков врал. Его первой женой была дочь великого русского писателя-страстотерпца Глеба Успенского Вера. Второй – соратница по эсеровской партии и ее Боевой организации Евгения Зильберберг. А вот любовницей действительно была баронесса Любовь Ефимовна Дикгоф. Их обоих, Бориса Савинкова и Любовь Дикгоф, ГПУ арестовало в Минске в 1924 году. Ее, подозревавшуюся в связях с ЧК, вскоре освободили. А он накануне судебного процесса то ли сам выбросился из окна здания на Лубянке, то ли его чекисты выбросили... За ненадобностью.

XXXV

Обращение Федора Кириллова к Господу и белорусскому народу

Сограждане! Друзья мои! Вы ждете перемен. О, как я понимаю вас! В этих серых, скучных, тошных буднях вдруг промелькнет какой-то луч. Вдруг что-то случится, и произойдет чудо: сегодня заснули в одной жизни, завтра проснулись в другой. Все вышли на улицы. Все улыбаются друг другу, все обнимают, любят друг друга. Все украсились бело-красно-белыми лентами. Так свои узнают своих. Счастье безмерное, море, океан победных, счастливых эмоций захлестывает толпу на Центральной площади Минска и разливается далее по улицам, а затем за пределы столицы, по городам, городкам и весям нашей милой и запуганной, замордованной несчастной Беларуси.

И Европа, весь мир замерли в удивлении, в онемении. Неужели, это правда? Неужели белорусы смогли? Стряхнули летаргический сон, преодолели страх?

Сделать это сегодня – страшная необходимость. В руки правящих нами вот-вот попадет страшное оружие, которое может уничтожить всю Землю, жизнь на нашей планете остановится. Не станет самой планеты. Правитель и его

присные надеются, что уцелеют, что будут повержены только их враги. Но это оружие – Черная Дыра – поглощает и убивает все вокруг. Никто не уцелеет.

А что если мы не народ, не нация, а просто население? Тогда нам безразлична и собственная судьба. Но ведь есть язык, есть, поэзия, есть искусство, есть человечность, в которых пробивается душа народа. Значит, он, народ, жив, он не умер! Но как достучаться до этой души? Может быть, только осознание близкой гибели всех и всего всколыхнет людское море, вызовет чувство гражданской солидарности и возмущения.

Жуткими тюремными ночами я проклинал и молил мой народ. Я звал его и в гордыне отторгал. Я хотел жить и умереть для него и понимал, что я ему не нужен. Но сегодня, но сейчас молчать преступно. И прошу поверить мне. И я заклинаю вас, белорусы! Поднимитесь с колен! Нельзя больше стоять с виновато опущенной головой. Конечно, страшно. За детей, за себя, за друзей. Поэтому я никого не зову на баррикады. А зывают только к тем, кто чувствует в себе силу разогнуться.

Господи! Если бы наша церковь не превратилась в учреждение, мы могли бы попросить наших пастырей придать нам силы, направить наш дух. Но сегодня мы сами должны молить Господа, чтобы он помог нам, укрепил нас, дал нам силы.

Так давайте же помолимся, чтобы Господь не оставил нас и помог нам вернуть себе подлинный облик человеческий. Прежде всего – внутренний, духовный, без которого мы не люди, а только оболочка, напоминающая человека.

Я обращаю лицо свое к Господу. К Тому, чей Светлый Лик не закрыт казенным православием, а сияет нам во всей чистоте своего высочайшего подвига – гибели и вознесении во имя спасения человека.

Господи, прошу я, помоги и мне и народу моему встать из моря лжи, бесчестия и поругания. На коленях, со склоненной головой я готов стоять бесконечные дни и ночи в ожидании твоей милости – просветления и научения народа моего. Знаю свой великий грех – гордыню мою и смиряю ее перед тобой. Знаю, что нет у меня такого

права предстательствовать за народ, но есть великое желание попросить за него, помочь ему

Но уже не осталось времени. Может быть, счет идет на дни, а может, на часы. Если поможешь нам, это будет величайшим искуплением всех жертв бесконечных, понесенных не только моим народом, но всем человечеством. Пронеси мимо страшную чашу Черной Дыры.

XXXVI

– Нет, нет, не мое это дело, – говорил с ужасом на лице катехизатор Вогуло Виталию Лавкунову. – Не втравливайте меня в это дело Антихриста.

Была глубокая ночь. На территории пансионата «Наука» горели редкие фонари. От озера шел мерцающий свет. Виталий Лавкунов давно уже обдумывал этот свой шаг – посвятить какого-то надежного человека в тайну миниколлайдера. Ему захотелось избавиться и от самой страшной машины. Он не спал ночами, глотал разные снотворные, но сон не шел. Жизнь Виталия превратилось в какое-то море. Нервная система – он чувствовал это – окончательно отказывается служить ему. Он пошел к психотерапевту в медицинский центр «Лодэ», и там строгая и холодная красавица-доцентша спросила его: «Чего вы, собственно, от меня ждете?» Он растерялся. Разве непонятно, что ему нужна помощь? Она выписала ему кучу таблеток, и онпил горстями всю эту психотропную дрянь – стимулотон, стрезам, флюанксол и еще нечто. Но успокоение не приходило, скорее какое-то оупение и желание избавиться от навалившегося на него ужасного соблазна.

Так ему пришла мысль о покаянии.

– Крещены ли вы? – спросил его Вогуло.

Да, он был крещен в младенчестве, бабка совершила это в тайне от отца. Но в церковь не ходил, не исповедовался и не причащался никогда.

– Вам надо к священнику, в церковь вам нужно, побыть на литургии, потом исповедаться.

– Да, не могу я такое никому рассказать! – закричал Виталий. – Только вот вам решился, потому что знаю давно и соседи.

– Надобно спросить Феону. Она мудрая.

– Спрашивайте, – обреченно махнул рукой Виталий. – Все равно вы ей расскажете.

– Расскажу, конечно. Без этого у нас никак.

Однако Феона Матвеевна, всегда быстро находившая ответы, на этот раз задумалась. И потом только начала неспешно рассуждать.

– Знаете ли вы, что покаяние в переводе с древнегреческого означает перемену ума? Перед вами же не просто осознание грехов, а преодоление дьявольского искушения, опасного для всего человечества. Я верю, что Бог не попустит того зла, об угрозе которого вы рассказали. Но надо помнить, что Иисус Христос и Иоанн Креститель начинали свою проповедь словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Сознаете ли вы природу, суть вашего стремления к покаянию? Кальвинистский богослов Артур Пинск писал о покаянии отчаяния. Что-то похожее мучит вас. Тем же болел Иуда Искарот.

– Я никого не предавал, Феона Матвеевна, – мрачно прервал ее Лавкунов.

– Да-да, он не предатель. Он только грешник великий, – поддержал Виталия катехизатор.

Но Феона была неумолима.

– Вами прежде всего движет страх. Вы боитесь греха и ответственности за него. А евангельское покаяние – это обращение к Богу. Страх может повредить ваш разум. А истинное обращение к Богу переменяет ум и смягчает сердце. Вам придется много раз ходить на литургию, исповедоваться и причащаться. Только тогда сможет очиститься сердце ваше. Я знаю священника, который может помочь вам. Это отец Андрей, он служит в городе в церкви Иконы Божией Матери Взыскание Погибших. Но он и здесь, в Раубичах, бывает. Тут временная церковь есть. А под большой храм уже и место выделили.

– Да нет, нет у меня времени на все это – хождение в церковь, исповеди, причащения! – воскликнул Виталий.

– Тогда путь в ад, – мрачно отрезала Феона.

– погоди, Феона, – вмешался катехизатор. – Преподобный Марк Подвижник говорил, что мы осуждаемся не за множество наших прегрешений, но за то, что отказываемся каяться. А он же не отказывается. Он только в нетерпении, поскольку ситуация страшная.

Феона, помолчав, сказала:

– А еще Марк Подвижник говорил: и для великих, и для малых покаяние остаётся несовершенным до самого смертного часа.

Виталий взглянул ей в лицо.

– Да ведь наступил уже, Феона Матвеевна, наступил уже этот час!

– Об этом нам знать не дано, – насупилась Феона. – Но я вынуждена напомнить вам слова того же Артура Пинка: «Нельзя путать угрызения нечистой совести с тем убеждением и осознанием греха, которое дает Святой Дух».

– Но скажите, Виталий, вы ведь хотите возлюбить Господа всем сердцем своим? – обратился к Лавкунову катехизатор.

– Я от тяжести, которая давит меня, освободиться хочу. От Черной Дыры. От ужаса, который грозит миру.

– Вот! – вскрикнула Феона. – Вот! Я чувствовала! Бесы одолевают его, Эразм, бесы! А он не хочет отворотиться от греха, а только жаждет тяжесть страха с себя снять. Он хочет спастись за один день, может быть, за один час.

– Да хочу за день, за час! Вам этого не понять! – с этими словами Лавкунов покинул дачу катехизатора и его жены.

На следующий день он снова был в клинике «Лодэ» у холодной красавицы-психотерапевта, откуда его в специальной машине увезли в психиатрическую лечебницу в Новинки. Там он уверял врачей, что миру грозит страшная опасность, что только ему известна тайна миниколлайдера, который уничтожит жизнь на Земле и саму Землю. В его «истории болезни» это записали как «навязчивый бред физика». Ему стали колоть галоперидол, прописали несколько нейролептиков, и спустя две недели он успокоился. И стал похож на остальных «овощей», иногда покидавших свои палаты с окошечками, делавшими их похожими на

тюремные камеры, и бродивших по коридору клиники. Он исправно ходил на трудотерапию, где клеили коробочки и укладывали в специальные обоймы металлические ша-рики. Эта продукция шла на какой-то завод.

В один из таких спокойных дней, в часы, отведенные для посетителей, его навестил Гейм. Этому визиту пред-шествовала его встреча с Эразмом Вогуло. Катехизатор нашел писателя в его любимом месте – на дамбе, где он наблюдал за рыбаками.

– Богоугодное дело – рыбная ловля, – сказал он. – Апо-стола были рыбаками.

Гейм кивнул.

– Надеюсь, Эразм Феофилактович, что вы пришли сюда именно затем, чтобы сообщить мне эту новость.

Вогуло почувствовал себя неуютно.

– Да я, собственно, насчет часовни интересовался, – про-бормотал он. – Вы ведь видели... там, за дамбой... возле этих шикарных дач рядом со спорткомплексом целое поместье возведено в русском стиле.

– Видел этот псевдорусский кич... Башенки, луковки, воины с секирами у входа...

– Вот и я думал поначалу, что кич такой, знаете ли, в сти-ле русских сказок... Дворец... башни сторожевые, стены крепостные... А потом, гляжу, вроде церковь построили. Настоящую. Говорят, как будто уже и освятили.

– Ну и кто же это отличился?

– Говорят, какой-то очень состоятельный человек, кажет-ся, Барсевич его фамилия, он родом из Беларуси, а бизнес имеет в России и даже в Европе. Вот построил что-то вроде музея русской истории и культуры. Иконы старинные со-бирает, фарфор...

– Да, странно. Тут бы смотрелось что-нибудь в стиле старой шляхетской усадьбы. Все-таки Беларусь... Да еще напротив дачи американского посла. Непатриотично как-то. Не находите, Эразм Феофилактович?

– Ну все-таки какое-то доброе дело. Музей... И украше-ние местности, знаете ли.

– Да, наверное, митрополиту должно понравиться. Русским духом пахнет.

– А чем вам, собственно, русский дух не угодил? Вы ведь и сам вроде русский писатель. Во всяком случае, книг ваших на белорусском языке я не видел.

Гейм взглянул на неожиданно расходившегося катехизатора.

– Что-то вы сегодня нервный какой-то, Эразм Феофилактович.

– Душа болит, Виктор Владимирович, за одного человека. Вы, наверное, знаете, что приключилось с соседом вашим Виталием Лавкуновым.

– Слышал, что он вроде в психушке в Новинках.

– А о причине его болезни слышали что-нибудь?

– Какая же причина?

Катехизатор оглянулся по сторонам.

– Черная Дыра. Он был у меня и говорил о ней, как о каком-то ужасе, грозящем человечеству. Его буквально трясло. Я ничего в этом не понимаю. В общем, лучше он сам вам все расскажет. Вы навестите его, Виктор Владимирович. Дело это важнейшее. Можно быть, и впрямь судьбы мира решаются. Чувствую, что он меня в какую-то тайну посвятил. Но я по обету своему церковному, а еще больше по слабости характера ничего предпринять не могу. Это Феона мне посоветовала к вам обратиться. Вы человек многоопытный, со связями. Должны что-то придумать. Виталий Лавкунов в отчаянии, а к настоящему покаянию дороги не видит. Преподобный же Амвросий Оптинский говорил, что безмерная скорбь о грехах, доходящая до отчаяния, отвергается по учению святых отцов. Скорбь эту должно растворять надеждой на милосердие Божие. Должно вместе печалиться и надеяться. Печалиться, потому что мы грехами своими прогневаем Бога, удаляемся от Бога. Надеяться, потому что мы имеем Всесильного Врача для грехов наших, Господа Иисуса Христа, пролившего за нас кровь Свою.

– Вот вы все это и разъяснили бы ему, – сказал Гейм, пристально глядя на катехизатора.

– Я разъяснял и еще буду разъяснять. А вы пока, Виктор Владимирович, съездили бы к нему в Новинки. Дело Божеское.

XXXVII

Виталий Лавкунов только что пришел с трудотерапии и сидел на маленьком кожаном диванчике в углу общего коридора, по которому проходили больные, медсестры, врачи. Разговаривать было не очень удобно, но Лавкунов не соглашался зайти в кабинет психиатра, с которым Гейм договорился, что они там побудут полчаса вдвоем.

Гейм понимал: дело зашло далеко, слишком много людей знает о миниколлайдере. Израильтяне действуют через Эмму Мейштович и Игаля Амира, спецслужбы Правительства наверняка тоже уже вышли на след, Лавкунов сам твердит докторам о Черной Дыре, катехизатор Вогуло хотя и боится всего на свете, но может не удержаться и рассказать кому-то из знакомых церковников. Покаяться через выдачу тайны... Не сегодня завтра Лавкунова изолируют люди Креймана, они же и вытрясут из него всю информацию. На долгие разговоры с Виталием уже не было времени. И он решился пойти напрямую. Достал блокнот и сделал первую запись:

«Я знаю только о Большом адронном коллайдере, построенном на глубине 100 метров на границе Швейцарии и Франции. Сейчас его модернизируют, чтобы установка могла выдавать энергию, в два раза превышающую прежнюю. Зачем?»

Виталий ответил:

«Это связано с тайной темной материи и черных дыр. Ученые хотят раскрыть эту тайну».

«Она действительно существует, эта темная материя?».

«Ее существование предсказано наукой».

«Ее уже наблюдали?»

«Это нейтральная материя, не испускающая электромагнитного излучения и не взаимодействующая с ним. Поэтому невозможно её прямое наблюдение».

«Пишут о вероятности получения в коллайдере мини-черных дыр. Это опасно?»

«Нам известны три пространственных измерения и одно временное. Но есть и другие. Их наличие позволяет порождать черные мини-дыры. Они не опасны, так как быстро распадаются, подобно элементарным частицам».

«Но может начаться и процесс разрастания дыр?»

«Почему может? Он уже запрограммирован в миниколлайдере, сделанном профессором Гончариком на основе теоретических разработок академика Рейнека и моего деда, академика Лавкунова. Разгон частиц в нем превышает Женевский коллайдер в тысячи раз».

«Мир может погибнуть?»

«Вполне вероятно».

Гейм сделал последнюю запись в блокноте:

«Что вы хотите, чтобы я сделал с миниколлайдером?»

Виталий совсем не удивился вопросу и написал в ответ: «Нужно отключить пусковое устройство, контроллер, и погрузить коллайдер в водоем на глубину не менее четырех-пяти метров».

А затем он нарисовал в блокноте схему своего дачного участка, на котором указал парник и место в нем, где закопан прибор.

– Торопитесь, – сказал он. – Машина запрограммирована на самовключение.

Он встал, вяло пожал Гейму руку и побрел в свою палату с окошечком в двери.

XXXVIII

Ворота старинной крепостцы, располагавшейся на противоположном берегу озера, как раз напротив резиденции американского посла, распахнулись. Рынды с блестящими секирами, охранявшие дворец, двинулись к широким ладьям на берегу. А за ними многочисленные воины в кольчугах и шлемах, с мечами и пиками. Пушки, установленные на стенах крепостцы, стали изрыгать ядра, падавшие на территорию резиденции и уже повредившие соседний магазин районного сельпо.

– Роберт! – закричал Смайли помощнику. – Немедленно звоните в администрацию Правительства. На нас напали войска неизвестного государства. А пока вывешивайте белый флаг.

Этому решению посла решительно воспротивился сер-

жант Батлер, командир морских пехотинцев, охранявших посольскую резиденцию.

– Господин посол! Мы не можем подвергнуть Соединенные Штаты такому унижению. Посмотрите, это какие-то дикари. Две очереди из автоматов, и они будут остановлены. Мы не должны позволить им высадиться на нашем берегу.

– Это международный конфликт, Батлер. У нас нет полномочий. Свяжите меня с Госдепом.

Они стояли на балконе резиденции и растерянно смотрели, как воины в кольчугах и шлемах высаживаются на их берег.

– Это войска Ивана Третьего, Великого князя московского, – решительно заявил Роберт.

– Вы с ума сошли, Роберт! – крикнул Смайли. – Сегодня не шестнадцатый век!

– Да, век двадцать первый, – согласился помощник. – Но русские войска оттуда, из шестнадцатого.

Появился Батлер с телефонной трубкой.

– Господин посол, Госдеп рекомендует вступить с нападающими в переговоры.

– Но с кем, черт возьми, я должен вести переговоры?

– С людьми Великого князя московского Ивана Третьего, господин посол.

– Но мы находимся на территории суверенной Республики Беларусь! Почему я должен вести переговоры с Иваном Третьим? Что говорят из администрации Правителя?

– Суверенной Беларуси больше не существует. Минувшей ночью она вошла в состав Великого княжества Московского. Правитель бежал в Шклов, где ему дозволено образовать небольшое автономное княжество, подчиненное Москве.

В этот момент на балкон вступили двое рынд с блестящими секирами в сопровождении воинов с мечами и луками. Смайли была вручена грамота от имени Ивана Третьего с предложением Соединенным Штатам вступить в союз с Великим княжеством Московским против международного терроризма, развязанного крымским ханом, польским королем и уже издыхающей Большой Ордой.

– Господин посол! Господин посол! – тряс сидящего в кресле Смайли за плечо Роберт. – Вы так крепко задремали. Проснитесь! У нас гости.

Широко и дружелюбно улыбаясь, американскому послу протягивал обе руки сам Анатолий Барсевич, богач, филантроп, чудака, владелец сказочного поместья на противоположном берегу.

– Бога ради, простите, господин посол, за этот маскарад. Будем считать это репетицией перед приездом нашего Правителя на открытие новой трассы здесь, в Раубичах. Надеюсь, вы не откажетесь понаблюдать за театрализованным действием, которое мои люди подготовили в честь этого события? Тем более, что с балкона вашей резиденции открывается чудесный вид на территорию, где оно будет происходить.

Смайли поморщился.

– Мне понятна ваша мысль, господин Барсевич, украсить, так сказать, приезд Правителя на этот большой спортивный праздник. Но почему бы вам не выбрать достойный сюжет из белорусской истории? Ну, скажем, известную битву под Оршей, в которой войска литовского гетмана Константина Острожского одержали блестящую победу над полками московского царя Василия Третьего? Это было бы и патриотично и вообще очень к месту.

Барсевич учтиво поклонился.

– Всем известна ваша любовь к истории, господин Смайли. Но будем реалистами. Как вы представляете себе в свете сегодняшних братских, союзных отношений России с Беларусью показ здесь, на озере, разгрома московских ратников? Вы хотите, чтобы русские воины, мои воины, прыгали в воду, как это было на реке Крапивне, и тонули в ней? Вы хотите, чтобы весь берег рядом с моим замком был усеян трупами русских, а мои рынды, наподобие московских воевод Булгакова-Голицы и Челяднина, вместе с другими военачальниками сдались в плен? И все это, по сути убийство русских русскими и к тому же православными людьми, осуществлялось бы на глазах Правителя и других гостей?

– Но это вдохновляющая белорусская история! – воскликнул Смайли.

Барсевич нетерпеливо махнул рукой.

– Вы начитались Ермоловича и Сагановича, господин посол. В больших количествах это чтение вредно. Еще Сервантес писал, что лживых историков нужно казнить так же, как фальшивомонетчиков. Нам незачем воспевать братоубийственные конфликты прошлого. Смотрите реально на ситуацию, господин посол.

– Что вы имеете в виду?

– Да проще простого! Что такое сегодня Украина? Это американский протекторат. Страна под внешним управлением, американским, замечу еще раз, управлением, господин Смайли А Беларусь это российский протекторат. Да, эти протектораты называются суверенными государствами. Но суть-то от этого не меняется. В мире вообще самостоятельных стран всего несколько. Настоящей суверенностью сегодня могут похвастаться, кроме США, только Россия и Китай. Ну еще Северная Корея пытается что-то из себя изображать, грозит ядерным кулаком. Остальные под тем или иным колпаком. Президент Трамп прямо заявляет, что весь мир должен жить по порядкам, установленным Соединенными Штатами.

Смайли занервничал.

– Вы упрощаете, господин Барсевич. Соединенные Штаты только подают разумный пример другим странам. Барсевич заулыбался.

– Разумеется! Разумеется! Кто спорит? Добрый пример – это так важно. Но что составляет его суть, находится, так сказать, внутри этого примера?

– Только принципы демократии! – отрезал Смайли.

– Не только, – возразил Барсевич. – Принципы демократии и статуя Свободы – это оболочка. А внутри то, что можно назвать мегаидеологией, означающей на деле всемирное торжество Соединенных Штатов, как сильнейшего государства в мире. И я вас с этой истинно имперской и выношенной внутри американской демократии идеологией от души поздравляю.

– Не могу принять ваших поздравлений, – сухо сказал Смайли.

– Ну, мировоззренческие расхождения не повод для

серьезных конфликтов, – продолжал улыбаться Барсевич. – Так как насчет завтрашнего праздника? Соединенные Штаты не будут возражать против высадки на ваш берег русского воинства?

– Ну если ядра ваших пушек не будут падать рядом с резиденцией.

– Обещаю, господин посол. Просто сегодня была пристрелка. Воины увлеклись.

– Да уж, палить по резиденции американского посла – дело действительно увлекательное, – пробурчал Смайли.

– Ну это, в общем, небольшой сюжет, – широко улыбнулся Барсевич. – У нас в репертуаре есть и более мощная постановка. Что вы скажете насчет похода Мономаха против Всеслава Полоцкого в 1079 году, когда Минск был попросту уничтожен? Как там сказано в летописи: «На ту осень ходили с черниговцами и с половцами-читеевичами к Минску, захватили город и не оставили в нем ни челядина, ни скотины».

– Отменно знаете летописи, – недовольно заметил Смайли. – Но есть сегодняшняя история.

Барсевич назидательно помахал рукой.

– Но и о прошлом не стоит забывать, господин посол. А история говорит нам, что Мономах присоединил Минское княжество в 1119 году. Да, к Киевской Руси присоединил. Но к Руси! Вот и у Литовской Руси, именуемой Беларусью, есть шанс вернуться в родное лоно. Не так ли?

XXXIX

Юзик Безвредич, главный редактор оппозиционной газеты «Народный голос», в десятый раз перечитывал текст, переданный в редакцию по электронной почте. Незвестный автор уведомлял, что не только Беларусь, но весь мир находится на краю гибели. Физическое устройство под названием «Миниколлайдер», попавшее в руки группы авантюристов, в любую минуту может породить Черную Дыру, которая мгновенно начнет поглощение Вселенной. Это была сенсация, способная поднять и под-

писку и розницу хиреющей газеты. Юзик не верил в эту страшилку. Но ведь могут приписать стремление посеять панику среди населения. И тогда неминуемы штрафы. Дело может дойти до закрытия издания. Семидесятилетний лысоватый Юзик, прошедший опытнейшую школу в газете ЦК КПБ «Советская Белоруссия», где он занимал должность первого заместителя главного редактора и занял бы место главного, если бы не рухнул Советский Союз, был большим хитроvanом. Он быстро превратился в демократа и даже умеренного националиста, научился добывать гранты на свою газету от ряда западных фондов. Но сейчас он чувствовал настоятельную необходимость посоветоваться с начальством. Впрочем, кто оно теперь, его начальство?

Хотя чего тут долго думать? Он издает легальную газету, соблюдает все законы Республики Беларусь. Поэтому имеет право обратиться в соответствующие властные органы. Ну а с таким делом ясно – прямая дорога в КГБ. Он набрал телефон приемной генерала Леза.

– Сергей Данилович, дело срочное, исключительной безотлагательности.

Лез повертел в руках распечатку в один листок, привезенную Безвредичем.

– Может быть, провокация?

– Вот и я говорю, – заторопился Безвредич. – По-разному можно посмотреть.

– Кто еще знает об этом документе?

– В редакции знают. Те, что сидят на приеме почты. Наверняка уже разболтали.

– Предупредите своих, чтобы не болтали.

Лез едва успел произнести последние слова, как двери его кабинета широко распахнулись, впустив руководителя Совета Безопасности генерал-лейтенанта Креймана и десяток вооруженных спецназовцев.

– Уведите этого, – кивнул Крейман в сторону Безвредича.

– В чем дело? – закричал испуганный редактор «Народного голоса». – Наше издание стоит на государственных позициях. Как только в редакцию пришел этот провокационный материал, я сразу явился сюда.

– С этим материалом мы еще разберемся. А пока вы задержаны. И сотрудники редакции тоже. Газета временно прекращает выход.

– Это насилие над гласностью и конституцией! Запад вам этого не простит! – Безвредич произносил это уже за дверьми кабинета Леза, подталкиваемый рослыми бойцами спецназа.

Крейман холодно взглянул в лицо Лезу.

– Прежде всего не простим мы.

– Чего именно? – равнодушно спросил Лез.

– Предательства, Сергей Данилович. Предательства.

Крейман протянул Лезу бумагу. Это был адресованный Правителю рапорт начальника криминальной милиции генерала Малатика.

«Я знаю, что нарушаю субординацию, обращаясь через голову моего непосредственного начальника, министра внутренних дел, – писал генерал. – Но у меня нет выхода. Я знаю, что под руководством генерал-лейтенанта Креймана создана особая группа, которая провела физическое устранение бывшего министра МВД генерала Клитко и бывшего вице-премьера Бондаря. Трудно сомневаться в том, что эта группа действует без вашего благословения. Хотя ни у кого нет права убивать людей только потому, что они находятся в оппозиции. Подобная практика политических убийств неминуемо погрузит страну в хаос. Полагаю тем не менее, что вы прямых указаний на этот счет не давали, и ваши подчиненные самостоятельно проявили излишнее и жестокое, ничем не оправданное усердие.

Но я также знаю, что Клитко и Бондарь готовили заговор против вас. Я также был причастен к этому делу, в чем теперь глубоко раскаиваюсь. Руководство заговором осуществляет генерал Лез в сообществе с известным оппозиционером Кирилловым. Комитет государственной безопасности набит изменниками. Намеченное покушение на вашу жизнь должно произойти в Раубичах во время ближайшего спортивного праздника, посвященного открытию новой лыжероллерной трассы.

Теперь о том, почему я изменил свою позицию. Буду откровенен. Я ненавижу вас. Ненавижу вашу помешанность на власти, вашу дикую страсть к властолюбию, ваше хамство, вашу необразованность. Ненавижу вас за разрушенные надежды

нашего народа на построение свободного, демократического государства. Ненавижу за то, что при вас произошли убийства, разорения, заключение в тюрьмы многих порядочных людей. За то, что вы окружили себя ничтожествами, утвердили культ семейственности и слепой преданности в высших эшелонах власти. Вы уничтожили все демократические свободы в нашей стране, в том числе свободные выборы, сделав свое пребывание на высшем государственном посту пожизненным. Вы насадили в стране авторитарно-диктаторский режим, разрушили профсоюзное движение, ликвидировали независимые политические и общественные организации.

Но последнее время меня гложут сомнения. Может, наш народ заслуживает именно такой власти и другая ему не нужна? На другой день после разгона известного протеста на площади, связанного с последними выборами на высшую должность в стране, после ареста других кандидатов наши граждане, как ни в чем не бывало, вышли на работу. Возможно ли такое в другой стране? Там бы сразу же начались массовые протесты, забастовки. Да, наш народ запуган. Но тогда запуганным и стоит жить по правилам запуганного народа?

Оппозиционеры не раз высмеивали ваши слова о необходимости «накормить народ». Сравнивали их с отношением к скоту. Но если сам народ дает повод для подобного отношения? Одет, обут, накормлен – чего еще нужно? Да, душит дороговизна, да, есть понимание полного отсутствия элементарных прав и возможности защитить себя перед всевластием чиновников и милиции. Но зато есть стабильность и спокойствие. По сравнению с миром, объатым тревогой, страхом перед терроризмом и наплывом эмигрантов, Беларусь поистине спокойный островок. И это во многом благодаря вам. Работает транспорт, магазины полны товаров, здравоохранение, хотя и сильно упало, но как-то еще существует. В общем, жить как-то можно.

И вообще, в последнее время мне все больше начинает казаться, что так называемые демократы имеют целью не экономические реформы и благосостояние нашего народа, а прежде всего смену типа цивилизации, той культуры быта и духа, которые составляют его существо. Мне представляется, что нашего человека, чей архетип формировался столетиями, переделать за пару десятков лет невозможно. Насильственное внедрение

западных образцов экономики и политической культуры будет только способствовать еще большему обострению всех социальных и экономических проблем. А это неизбежно приведет страну к полномасштабной социальной катастрофе.

В этих условиях насильственное устранение Вас, как первого лица государства, может породить непредсказуемые события, попросту разрушить нашу страну. Все это уже было с Россией и Советским Союзом в 1917 и 1991 годах. Нужен ли нам повтор? Эта опасность особенно возрастает в связи с последними событиями, связанными с так называемой Черной Дырой. Если миниколлайдер, изобретенный профессором Гончариком на основе разработок академиков Рейника и Лавкунова, попадет в руки авантюристов, судьба мира окажется на волоске. В этих условиях, как мне кажется, господин Правитель, только вы можете спасти мир и человечество от ужасной катастрофы. По моим сведениям, миниколлайдер и вся документация к нему находятся у внука академика Лавкунова Виталия. Нужно торопиться!»

– Какие, однако, философы водятся в нашей криминальной милиции, – усмехнулся Лез.

Крейман был непроницаем.

– Эта философия несколько запоздала.

– В каком смысле? И, самое главное, что нашли у Лавкунова? – спросил Лез.

– Ничего не нашли, – ответил Крейман. – Лавкунов вчера повесился. В подвале психушки в Новинках.

– А что будет с генералом Малатиком?

– С ним тоже уже ничего не будет. Он сегодня застрелился. Этот рапорт мы нашли на столе в его кабинете. Между прочим, достойный выход для человека, дававшего присягу.

– На что вы намекаете?

Крейман как будто взъерился, но сразу же остыл.

– Я ни на что не намекаю, Сергей Данилович. Выбор у вас невелик. Или арест, позор, разумеется, закрытого судебного процесса, а потом неминуемый расстрел. Или вы сейчас сами решаете вопрос. Берите пример с генерала Малатика. Мужественный и принципиальный человек.

– Я должен позвонить Правителю, – обреченно сказал Лез.

– С ним все согласовано, – устало сказал Крейман. – Если у вас проблемы с личным оружием, вот еще один пистолет. Мой личный.

Лез кивнул.

– Это случайно не тот, из которого убивали Клитко и Бондаря? Хотя вряд ли...

Он взял в руки пистолет Креймана.

– Эф-эн-пи сорок пять. Совместное производство США и Бельгии. Такое дорогое оружие вряд ли использовали для заказных убийств.

Уже направляясь к двери, Крейман бросил:

– Вам это должно быть безразлично.

И успел услышать:

– Нет, не безразлично! Я уж лучше из своего старого ИЖа.

Трое бойцов спецназа остались в кабинете Леза после ухода Креймана.

Быстрел он услышал, когда подошел к первому пролету широкой мраморной лестницы.

XL

Между тем анонимное письмо о миниколлайдере и связанной с ним глобальной угрозе существованию Земли и человечества, полученное в «Народном голосе», попало в Интернет. На многочисленных сайтах разных стран началось активное обсуждение этой суперновости. Беларусь оказалась в центре мирового информационного взрыва. В этих экстремальных условиях в редакции газеты «Наша бядя» посчитали первоочередной задачей создание Комитета Национального Спасения. На первое заседание поздним вечером в помещении редакции собрались его члены: редактор Микола Субойка, его жена, поэтка Людка Станкевичанка, широко известный национальный публицист и мыслитель Дементий Горобец, шахматный обозреватель Вольф Маргулиес, фельетонист Лелик Лушкин. Была послана телеграмма-молния находящемуся

в Польше Зенону Мазяку, буквально умоляющая немедленно прибыть в Беларусь, но тот ответил, что его жизнь принадлежит народу и потому он не вправе рисковать ею, поскольку есть реальная угроза, что при пересечении границы его арестует КГБ. Он согласился принять участие в заседании по скайпу.

Тон обсуждению задал Горобец.

– Миниколлайдер, – сказал он, – целиком вписывается в национальную идею Беларуси. Отныне мы перестаем быть жалкими просителями у Евросоюза, пристегнутыми намертво к России. Белорусский народ получает шанс объявить о своей воле всему миру.

– Но мы еще не располагаем коллайдером! – в отчаянии воскликнул Субойка.

– Это технический вопрос, – сразу же отметил Маргулис. – Если мы обратимся за помощью к израильским спецслужбам, он может быть решен в очень короткое время.

Лелик Лушкин отрицательно замотал головой.

– Но мы должны определиться по части сотрудничества с государством, с Правителем в этом деле.

– Никакого сотрудничества! – крикнул с монитора компьютера Мазяк. – Все будет решать Майдан, то есть Плошча. Народ давно готов к открытому сопротивлению и свержению режима. Миниколлайдер ставит проблему рубам – свобода или смерть. Нужно немедленно через Интернет призвать народ к выходу на Плошчу.

– Но это бунт против власти, против Правителя. Нас могут арестовать и даже уничтожить, – еще на что-то надеясь, почти шепотом произнесла Людка Станкевичанка.

Субойка обреченно махнул рукой.

– Ты напишешь стихи. Народ должен откликнуться.

Горобец обвел всех тяжелым взглядом.

– Я согласен с Мазяком. Или сейчас или никогда! У нас больше не будет такого шанса.

– Но и нас может не быть. Вообще все может исчезнуть. И мы, и Беларусь, и весь мир! Это вы понимаете? – закричал Лелик Лушкин.

– Жалкий конформист, почему-то пишуший фельетоны, – хмуро бросил Горобец.

Неожиданно на защиту Лушкина бросилась Станкевичанка.

– Да, мы конформисты! Мы хотим жить и презираем фанатиков!

– Друзья мои! – воскликнул Маргулиес. – Вспомните о словах Канта: «Меня можно заставить не сказать то, что я думаю, но никто меня не заставит сказать то, чего я не думаю».

Субойка поднял обе руки, как бы защищаясь от чего-то.

– А это уже неконформизм в чистом виде. И вообще – оставьте Канта в покое.

Горобец уперся взглядом в Маргулиеса.

– По-моему, вас никто не принуждает не говорить то, чего вы не думаете. Это ведь вы только что сказали о возможности привлечения израильских спецслужб. Между прочим, предоставляется хорошая возможность для евреев выплатить исторический долг белорусам.

– Напоминаете мне про обращение Купалы к «христо-продавцам и приبلудам»? – обиделся Маргулиес.

У Горобца не дрогнул ни один мускул.

– Но это же ваш перевод! «Долг заплатить вам Беларусь велит!»

На этих словах в комнату вошла Зося Ледачка.

– Не будьте идиотами, спадарства. На сайте «Нашай бяды» уже объявлено о создании Комитета Национального Спасения. Молодежь волнуется и рвется идти на Плошчу.

– Кто возьмет на себя ответственность за возможные жертвы? – Лушкин повернулся к Горобцу.

– Мы все, все возьмем! Комитет Национального Спасения возьмет! – с неожиданной решительностью сказал Субойка.

– Не будьте трусами! Вся Беларусь, весь мир смотрит на вас? – загремел с монитора Мазяк.

«И только ты, пророк наш, смотришь на нас из Польши», – хотел съязвить Лушкин, но промолчал. Он помнил, что великий Зенон даже на похороны матери не приехал, опасаясь все того же КГБ. Но кто бросит камень в Зенона? Наверное, на то они и великие, чтобы совершать неординарные поступки.

Ледачка нежно положила руку на плечо Маргулиеса. Воспоминание о пережитом на лесном холме не давало ей покоя. Однако заметив, как нахмурился Горобец, она быстро пропела:

– Вольфик, немедленно звони своим евреям. Дементий прав: есть возможность доказать кровную связь наших народов.

– Я не могу при всех, – сказал Маргулиес и вышел из комнаты.

– Жидовские штучки, – сказал вслед ему Горобец.

– Дементий, мы все знаем, что ты не антисемит. Зачем тебе эти фокусы? Сейчас нам нужно единство, – занервничала Ледачка.

– Ну ты уже, насколько всем известно, давно объединилась, – осклабился Горобец.

– Что ты имеешь в виду? – завизжала Ледачка.

– То же, что и ты.

– Все равно продадут, – обреченно махнул рукой Субойка.

Кто и кому продаст – уточнять не стали. И без того было ясно.

Новости, которые через несколько минут принес Маргулиес, оказались ошеломительными. Эмма Мейштович из израильского посольства сообщила, что коллайдер находился у недавно повесившегося в психбольнице в Новинках физика Виталия Лавкунова, внука известного академика. Накануне его самоубийства у него был писатель Гейм. Агенты израильской и польской спецслужб уже прибыли в Беларусь и ведут поиск. Российское министерство иностранных дел заявило, что слухи о коллайдере и Черной Дыре это провокация со стороны США.

– Так к кому пойдём на поклон – к евреям или к полякам? – спросил неуверенно Лушкин.

– Ситуация прямо как у Владимира Красного Солнышка, – съязвила Ледачка.

– Жида, конечно, сноровистее и опыта у них побольше, – раздумчиво сказал Горобец.

– Зато поляки ближе! – выкрикнул Субойка.

XLI

Поляки были совсем близко. Исторически близки. Все-таки жили в одном государстве. Горобец на минуту прикрыл глаза. Он устал. И опустошал уже вторую бутылку водки. Мысли путались. Шел первый час ночи. Нужна объединяющая фигура. Мазяк – политический труп. А почему не воскресший Бондарь? Кто был свидетелем его убийства? Где его могила? Какой еще спецучасток на Северном кладбище? И вот он возникает из небытия в ответственнойший для народа, для нации момент. Высокий, симпатичный, полный сил и всегда свойственной ему решительности. Но чувствовал ли он себя вполне белорусом? Выступал всегда по-русски...

Почему-то лезут в голову мысли о Лжедмитрии I. Беглый монах Гришка Отрепьев вроде был родом из Беларуси. Нехорошо, конечно, что взял себе имя царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, чудесным образом не погибшего в Угличе и законно претендовавшего на московский престол. Но самое главное, что обещал полякам, а это значит в первую очередь Великому Княжеству Литовскому, отдать Смоленскую и Северскую земли. А после женитьбы на Марине Мнишек под ее вено вошли бы Новгород и Псков. Стефан Баторий пытался сделать что-то подобное, даже на Полоцк хотел идти, но не получилось, свои же не позволили, испугались.

И если она была, встреча канцлера Великого княжества Литовского Льва Сапегы и Лжедмитрия I, о чем они могли говорить?

Сапег: – Вы можете гарантировать возвращение наших старинных земель в состав княжества?

Лжедмитрий I: – Я прекрасно знаю о вашем особом интересе. В Смоленской земле имеются ваши личные владения. Но помогите мне завоевать их, пусть в мою армию вольются ваши войска. Хотя признаюсь, мне нелегко отдавать русские земли Речи Посполитой.

Сапег: – Не Короне вы их отдаете, а Великому княжеству Литовскому, исконному их наследнику. И если ваше

решение неизменно, то так и быть – я пошлю вам в подмогу свои войска.

Но ведь обманул, обманул канцлера бывший беглый монах, с тоской думал Горобец. Он и Сигизмунда III вокруг пальца обвел, обещал католичество ввести и не ввел, земли обещал нарезать Польше, деньгами хотел откупиться за помощь ляхов. И Лжедмитрий II был подстать своему предшественнику. Тоже вел свои игры с поляками, с Вишневецким и Ружинским. А в итоге поляки перешли к королю, да еще с русскими боярами. И обоих *лже* убили свои. А ведь Первый был как будто европейцем. Иноземным от него несло, оттого и не могла принять его Москва. Врали про Отрепьева в грамотах посылаемых в Польшу, что *як был в миру, и он по своему злодейству отца своего не слушал, впал в ересь и воровал, крал, играл в зерню, и бражничал, и бегал от отца многажды, и заворовався, постригсе у черницы*. Ну и знамо отступил от Бога, *впал в ересь и в чорнокнижье, и призывание духов нечистых и отъреченья от Бога у него выняли*. А европейство его от того, что принадлежал к знатному, но обедневшему роду Нелидовых, выходцев из Литвы. Один из них, Давид Фарисеев, получил от Ивана III кличку Отрепьев. И, Боже, как страшно кончил его взошедший на московский престол потомок свои дни. Нагое тело его жестоко терзали и волокли по улицам Москвы.

Кругом обман и предательство. Кажется, так Николай II записал в своем дневнике во время отречения. Слабовольный был царь. Поперся в Могилев командовать войсками. А нужно было в столице сидеть. Разогнал бы этих два зажавшихся от безделья запасных полка – и никакой революции. Как-то все через Беларусь шло. Пушкин дал ремарку в «Борисе Годунове»: «Корчма на литовской границе». Там чернец Варлаам вопрошал Григория: «Что тебе Литва так слюбилась?.. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли; нам все равно, было бы вино...»

Пьянь русская, им, видишь ли, все равно – Литва ли, Русь ли. А Гришка был непрост. Свое думал. Пушкин в рецензии на сочинения Конисского назвал белорусов «народом издревле нам родным». А что он, певец империи, имел в виду

под этим родством? Справедливую утрату белорусами отчизны, Великого княжества Литовского?

И где она была, эта пушкинская корчма? Далеко ли от Быхова, где сидели арестованные по приказу Керенского Деникин и Корнилов? Сидели и сбежали. Разгорелась буча Гражданской войны.

Один Ленин знал, что делать. Никаких полумер. Немедленный и полный захват власти. Телеграф, банки, Зимний дворец. А эти болваны из оппозиции (или какие-то провокаторы), когда закончились президентские выборы, ломали дверь в Доме Правительства. Ну Правитель и вломил им. Посадил и претендентов на его место и их сторонников. Ленин был прав. «Ни в коем случае нельзя играть с вооруженным восстанием. Сделавши первый шаг, надо идти до конца».

Сегодня, сейчас мы сделаем первый шаг. Наше восстание – это преодоленный страх перед Коллайдером и неистовое желание сделать его нашим союзником. Коллайдер – это наш Зимний. Мы должны его взять, завладеть им.

Горобец обвел всех мрачным взглядом.

– Нужно взять за горло этого Гейма! Он последний видел Лавкунова и разговаривал с ним. Где он сейчас?

– Эмма говорит, что он у себя на даче в поселке Академии наук, – нерешительно сказал Маргулиес. – Но я не уверен... Мало ли что. Возможно, его уже выкрали агенты зарубежных спецслужб.

– Мы должны опередить их! – крикнул Субойка.

Зоська Ледачка взглянула на часы.

– Второй час ночи.

– Самое время! – рубанул воздух рукой Горобец. – Едем! В глазах Лушкина читалась мука.

– Может быть, нам стоит пойти на контакт с властью, с Правителем?

Субойка неожиданно поддержал его.

– Мы обратимся к нему с письмом от имени белорусского народа. Он должен понять. Это исторический шанс для него. Если он им воспользуется и обратится к народу по-белорусски, общество простит ему все его грехи.

– И смерти Клитко и Бондаря?

– История без жертв не делается. Не так ли, Дементий Иванович?

Горобец промолчал, тяжело опустив голову. Он думал об Игнате Гриневицком.

XLII

Мучился думой об Игнате еще один человек – российский император Александр II. С оторванными ногами, исходящий кровью и в невыносимых муках он умирал в Зимнем дворце. Душа его дождалась отлетевшую всего шестью часами позднее душу сына бедного белорусского шляхтича из имения Басин Бобруйского уезда Минской губернии.

– Зачем вы убили меня? Что я вам сделал плохого? – спросил царь действительного студента Петербургского Технологического института.

– Вы должны были умереть. Ваша смерть необходима для дела свободы. После нее монархическая деспотия в России должна рухнуть! – ответил член «Народной Воли», неутомимый распространитель подпольной литературы и нелегальных документов, пламенный агитатор в рабочих кружках и принципиальный сторонник террора.

Император не понимал.

– Вы получили прекрасное образование. Вам двадцать пять лет. Перед вами открывался такой блестящий путь, такая карьера. Вы убили не только меня, но и себя.

Террорист был угрюм и непреклонен.

– История свидетельствует, что роскошное дерево свободы требует человеческих жертв. Я знал, что погибну, не увижу победы, не буду жить ни дня, ни часа в светлое время ее торжества. Но своей смертью я сделал все, что должен был сделать, и большего от меня никто, никто на свете требовать не может.

– Прекратите эти глупые бредовые речи! – раздраженно воскликнул император. – Да знаете ли вы, что в тот день, когда вы ждали меня с бомбой на Екатерининском кана-

ле, я должен был подписать документ, который даровал бы России конституцию? Что знаете вы, самонадеянный юноша, увлеченный авантюрными идеями, о России, о ее народе? Наш народ нуждается в просвещении, в учителях и докторях, в свободе от всевластия помещиков. И я дал ему эту свободу – уничтожил крепостное право. Я провел судебную реформу, ввел суд присяжных, на очереди были новые реформы, которые должны были преобразовать Россию, сделать ее цивилизованным государством. И вот вы, революционные бесы, все разрушили.

Гриневицкий, словно не слыша его, бубнил свое. Он знал наизусть свое написанное накануне теракта завещание.

– Дело революционной партии – зажечь скопившийся уже горячий материал, бросить искру в порох и затем принять все меры к тому, чтобы возникшее движение кончилось победой, а не повальным избиением лучших людей страны. После вашей смерти начнется революция.

– Да вы сумасшедший, – прошептал в отчаянии царь. – Какая революция? Это вы послали на виселицу тех, кого считаете лучшими людьми, своих друзей Желябова, Перовскую, Михайлова и Кибальчича. А другие умрут в тюремных казематах. Мните себя борцом с деспотией. А вы и ваши друзья обыкновенные бандиты. Копали проход под Малой Садовой, думали, я там поеду. А я поехал по Екатерининской набережной. Княгиня Юрьевская просила меня изменить маршрут, ибо по столице носились слухи о возможном нападении. Но когда Перовская узнала, что я проехал манеж, минуя Малую Садовую, она дала метальщикам с бомбами сигнал следовать на Екатерининский канал и ждать меня там. Полиция не знала, что я поехал другой дорогой, и ее не было на пустынных улицах. У меня не было никакой охраны, всего два казака. Рысаков первый бросил бомбу под ноги лошадей моего экипажа. Карета разлетелась в щепки, казак, сидевший на козлах и один конвойный упали. Но я остался невредим. И первым делом спросил, схвачен ли преступник. Рысакова уже держали казаки и полицейские, из кармана его вынули пистолет и кинжал. Полицмейстер Дворжицкий умолял

меня немедленно уехать. Я пошел к саням, сказав одному из казаков: «Слава Богу, я уцелел». «Не знаю, слава ли еще Богу», – ответил Рысаков. Он видел, как ко мне с разных сторон приближаются другие метальщики, и впереди всех были вы, Гриневицкий. Вы были от меня не более двух-трех шагов и с силой бросили бомбу между собой и мной. Спасения не было ни для вас, ни для меня. Вам не жаль было ни в чем не повинных людей. Ваша бомба убила конвойного казака и мальчика четырнадцати лет из соседней лавки. Не знаю, сколько и как тяжело было ранено.

Террорист был угрюм и непоколебим.

– Да, еще много жертв потребует наша несчастная, но дорогая родина от своих сыновей ради своей свободы. И больше всего заберет последняя смертельная битва с деспотией. Она близка, она зальет кровью поля и нивы нашей родины, но по-другому история не делается.

– О какой родине вы говорите? – изумленно спросил царь.

– Жыве Беларусь! Смерть тиранам! – крикнула душа Гриневицкого и отлетела туда, откуда нет возврата.

Беларусь, недоумевал император, не знаю такой страны. Наверное, он имеет в виду Литву. Эти польские дворяне всегда были смутьянами. Но Калиновский, по крайней мере, действовал открыто, поднял восстание. А эти какие-то уголовники с бомбами.

Что ж, подумал Горобец, они никогда ничего о нас не знали. Для имперских колонизаторов Беларуси нет. Мы для них неудобные поляки. Хотя Калиновский – за чью свободу он боролся? Речи Посполитой? Великого княжества Литовского? Знал ли он сам? И что такое была «дорогая родина» для Гриневицкого? В печатавшейся в Петербурге подпольной «Рабочей газете», которую он сам набирал, говорилось о натерпевшейся бед «земле русской», о «русских людях» и «вольном русском народе», который «должен быть хозяином страны». Ни слова о Беларуси и белорусах. Но если нет других национально сознательных героев, мы сделаем белорусской легендой этого террориста, убийцу царя-реформатора. Зато теперь пришло время открыто

напомнить миру о себе. Коллайдер заставит всех считаться с волей белорусов, он объединит «свядомых» и «несвядомых». Прекратится эта грызня по поводу настоящих и ненастоящих белорусов. Коллайдер станет национальной силой, объединяющей всех.

XLIII

Шел первый час ночи. Гейму было нехорошо. Днем Вогуло свозил его к отцу Андрею, и тот совершил над болящим обряд соборования, таинство Елеосвящения, включающее прощение забытых грехов.

– Надо было раньше, перед московским обследованием, – укоризненно говорил отец Андрей, – теперь что ж... Хотя на все воля Божья. Уповайте и молитесь. Чаше бывайте на исповеди. Святой апостол Иаков возглашал: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему».

И мазал ему лицо пахучей жидкостью из бутылочки.

Гейм буквально на два дня вместе с Мариной съездил в Москву и вернулся оттуда совершенно опустошенный. Хотя результаты позитронно-эмиссионной томографии в Бакулевском центре оказались пока не столь плохи, как можно было ожидать при имевшемся у него высоком уровне Глиссона. Рак гнезвился в левом подвздошном лимфоузле, но остальное было чисто, без метастазов. Интеллигентная блондинка-радиолог, сказала, мило улыбаясь:

– В вашем возрасте рак простаты развивается медленно. Наверное, пока нет повода бить особую тревогу и что-то предпринимать. Впрочем, важно, что скажут онкологи.

На Гейма и Пенелопу снизошло какое-то облегчение. В ожидании заключения они прошлись по Тверской, завернули на Красную площадь, зашли в Иверскую и храм Казанской Божьей матери. Потом обедали в пиццерии в Камергерском переулке. Пицца была хороша, как и ита-

льянское красное вино. Но странное чувство владело Геймом. И молодой Чехов, вжавшийся в угол здания напротив МХАТа, и разъединенная пара Станиславского и Немировича-Данченко, и вообще вся Москва были чужими. И не потому, что город был холодно-апрельский, голый, не потому, что прохожие не напоминали москвичей. Что-то случилось. Москва перестала быть Москвой. Той, близкой, узнаваемой Москвой 60–70-х годов, которую Гейм хорошо знал. Москвы вообще не было. Она исчезла. А с ней исчезла Россия, Родина. Это чувство было новым и не то чтобы неприятным, а поселившим какую-то пустоту в душе. Гейм попытался сравнить свое отношение к Москве и Варшаве и понял уже не в первый раз, что при воспоминании о польской столице его сердце сжимает тоска. Он любил Варшаву и утратил Москву. А с ней Россию. У него больше не было Родины. Ну не Минск же? С Минском было сложно. В юности он принимал его как неизбежность. А потом годы стали разводить их. Минск был городом его удач и неудач. Но Москва после двухлетней жизни в ней и последующих многократных и продолжительных наездов стала очень близкой. А Минск стал тяготить. Гейм почти сразу понял ошибку, совершенную в 1967 году, когда закончился срок его солдатской службы.

– Куда ты едешь? – спрашивал его Юра. – Какой Минск? Твое место здесь.

Да, нужно было остаться в Москве, зацепиться полюбому. Там были друзья, библиотеки, архивы. Там был Дорошевич. Он покупал газеты по обмену квартир. Что-то находилось и в Москве. Но минское болото затягивало и в конце концов поглотило его.

Клинов выдумал особый Минск сталинского классицизма. А для Гейма это был ужас провинциального существования, особенно ощутимый по сравнению с Москвой.

И вот Москвы нет. И даже фантомной боли не осталось. Юра умер от скоротечного рака. Женя Фридман весь погружен в свои хлопотливые школьно-театральные дела, а рядом с ним сыновья и внуки. И слава Богу. А вот Сережа Десницкий, актер Московского Художественного театра, тяжело болен и почти не выходит из дома. Благо-

родный человек, Олег Табаков платит ему зарплату, хотя он давно не выходит на сцену. Все рассыпалось. Умерли чеховеды Паперный, Сахарова, Полоцкая, ушли редакторы издательств и журналов, где Гейма привечали. Добрые знакомые уехали за границу. Мир рухнул. Россия рухнула. И всё без всяких переходов. Как говорят, в одночасье.

Вот и Москва рухнула. Из Минска казалось, что она еще жива, а выяснилось, что ее нет. Чужой город. Столица утраченной Родины, как писал поэт Кислик, выведенной с карт «до бела». Поразительный образ – страна, выведенная до бела с карт! Украине Гейм никогда не доверял. Было всегда что-то напряженное, недоговоренное в разговорах с украинцами. Хорошо помнилось, как в позднеперестроечные годы на литфондовском пляже в Пицунде группа украинских писателей с кулаками набросилась на ленинградского критика Рубашкина за какое-то слово, показавшееся им национально обидным. И подчеркнуто-презрительное отношение к русским и России, которое демонстрировала на том же пляже жена одного львовского классика. Узнав, что Гейм из Белоруссии, она милостиво разрешила ему разместить свой лежак рядом со своим, бросив: «Слава Богу, что вы не из Москвы».

Свидетель этой сцены писатель из Польши Александр Омильянович тогда же сказал ему: «Вы еще хлебнете с украинцами».

– Откуда вам это известно? – спросил Гейм.

Омильянович рассказал, как еще в 70-е годы, путешествуя в джунглях Южной Америки, наткнулся на тайные поселения эсэсовцев, бежавших в конце войны. Они неплохо устроились и в Аргентине и в Уругвае. А в охране у них служили украинцы из бандеровских формирований, участники этнических чисток, уничтожавшие поляков и евреев. Они ничего не забыли и мечтали о возвращении на родину.

И вот Украина ушла в проамериканское плавание под бандеровскими парусами. И в какое-то свое, неведомое плавание отправилась Россия. И трудно понять куда – в Европу ли, в Азию ли. Считается, что по какому-то своему, особому маршруту, может быть, следуя напроороченному Чаадаевым

«другому цивилизационному началу». Какому? Знает ли, догадывается ли о нем сама Россия? Каким-то приткнувшимся к ней утлым суденышком болтается Беларусь.

Гейм чувствовал себя на перекрестке, обдуваемым чужими ветрами. Сирота, полный, абсолютный сирота. Он не чувствовал себя в силах вслед за Бродским полюбить империю, Москву – Третий Рим. Ощущение сиротства отравляло настроение, делало неспособным к работе.

Но оставалось дело, которое нужно было сделать. Гейм нехотя спустился в подвальное помещение дачи, взял лопату. Фонарик решил не брать, может привлечь чье-то внимание. К тому же Лавкунов точно описал место за парником на его участке. Он еще раз посмотрел схему, нарисованную Виталием. Все было просто и понятно. На большинстве дач огни были погашены, люди, натрудившись на участках, легли спать. Светилось только окно у академика Матвеева, он любил допоздна смотреть телевизор. С озера тянуло прохладой. Лес на противоположном берегу чернел громадной стеной. Земля сразу за лавкуновским парником оказалась податливой, было ясно, что здесь недавно копали. Гейм довольно быстро отрыл небольшую яму, на дне которой обнаружил плотный матерчатый мешок. В нем был кофр с документами. Но самого коллайдера в мешке не было. Гейм сначала подумал, что прибор закопан рядом, но отдельно. Еще час он расширял и углублял яму. Потом перешел на места немного отдаленные от нее. Усилия оказались напрасными. Коллайдера не было. Он сходил за фонарем и, наплевав на опасность быть замеченным, внимательно осветил места своих раскопок. Если коллайдер выкопали до него, значит должно быть что-то похожее на яму? Ничего похожего не было. Выходит, Лавкунов обманул его? Коллайдер спрятан в другом месте? Но ведь Лавкунов раскаялся, пережил сильнейшее потрясение. Мог ли он лгать, будучи уже не в себе? Значит, кто-то узнал тайну захоронения коллайдера и опередил его? Кто? Может, быть Вогуло? Этот катехизатор какой-то скользкий человек. Немедленно к нему! Нет! Сначала нужно уничтожить кофр с документами. За ним тоже может быть охота. Лучше всего бы сжечь. Но тут уж дачники явно обратят внимание на ночной костер.

На берегу Гейм отвязал чью-то лодку и погреб к середине озера. В мешок с кофром он засунул здоровенный булыжник и плотно закрутил его проволокой. Когда он достиг середины и попытался взять кофр, чтобы опустить его в воду, вдруг ощутил, что у него нет сил подняться. Он сидел точно прикованный, налитый непонятной и могучей тяжестью. Несколько попыток приподняться ничего не дали. Шли часы. За лесом стало чуть-чуть светать, а он все сидел и только всматривался в лесную стену. Внезапно лес стал раздвигаться и над верхушками деревьев возникло сходявшее с неба яркое Свечение, по краям окантованное красно-черной лентой. Гейма пробила дрожь, и он, сам того не ожидая, стал молиться. Он просил, умолял Господа дать ему силы сделать то, что нужно сделать. И еще просил открыть тайну коллайдера. Не может быть, чтобы Господь отдал ее в руки врагов человечества.

Но этот свет? Что это? Одна из тех звезд, которых называют Белыми Карликами? Или это Красный Гигант – звезда невероятной светимости и с протяженной оболочкой?

Между тем Свечение, окантованное красно-черной лентой, спустилось на воду, приблизилось к лодке Гейма и охватило ее. Гейму открылся невиданный простор, не имевший никаких пределов, в нем не было даже малейшего шевеления воздуха. Стояла тишина, от которой замирало сердце. Свечение то расширялось, то сжималось и, в конце концов, обозначило круг рядом с лодкой. Гейм ощутил, как тяжесть покидает его и легко приподнялся. Он взял обеими руками мешок с кофром и бесшумно опустил его в воду. Световой круг сжался и на мгновение пронизал водную толщу, проводив опущенное Геймом в глубины озера.

Потом круг поднялся, вновь очертила его черная лента, и он исчез за вершинами деревьев. Зато на том месте, где он только что был, образовалась гигантская пустота, в которую стал проваливаться и берег, и лес, и стоявшие на берегу дачи. И край озера стал исчезать. Гейм взглянул по сторонам: справа исчезла дамба и всегда видневшиеся за ней трамплины для прыжков лыжников, слева исчезла спускавшаяся к берегу гигантская бетонная стена, возведенная катарскими арабами, исчез лес, нависавший над водой

на крутых обрывах. Не было и самих обрывов. Была только оглушительная ПУСТОТА. Она подступала к Гейму и его лодке. Он закрыл лицо руками и упал на дно. Молитва его была бессвязна и страшна. Он не знал, кого молит, то ли Господа, то ли Неведомую Силу, ту самую ПУСТОТУ, которая вот-вот поглотит его. Он был жалок, дрожал и не понимал, что говорит. Это была молитва не о жизни, не о спасении, не о прощении грехов. Это было трепетание перед Ужасом, большим чем смерть, потому что непонятным и неизвестным.

И все-таки он просил, молил. О чем? Этого он не мог понять. Но желание молиться было единственным и непреодолимым. Невероятным усилием он заставил себя приподнять голову и обернуться. Противоположного берега не было, но часть ЕГО БЕРЕГА была цела. На нем метался свет какого-то фонаря, словно подавал ему знаки, и Гейм стал грести на свет.

– А мы уже и не знали, что думать, – говорил Горобец, помогая ему выйти из лодки. – Жена ваша сказала, что вы, на ночь глядя, куда-то ушли, вот мы и решили поискать вас.

Гейм пытался разглядеть в темноте стоявших рядом с Горобцом людей.

– Вы приехали за коллайдером? – жалко усмехнулся он. – Но его нет.

– Вы утопили его! – взвизгнул Субойка.

– Только документы. Коллайдера на участке Лавкунова нет. Можете прокопать его сами.

Горобец поник.

– Погибла Беларусь.

– Мир погиб, – прошептал Лушкин.

– Кто еще видел Лавкунова перед его смертью? – неуверенно спросил Горобец.

– Катехизатор Вогуло. Его дача рядом, – ответил Гейм.

– Идиоты! – кричала из машины Ледачка. – Нужно немедленно идти к этому катехи... к этому Вогуло!

Был четвертый час ночи, но на даче Вогуло светилось окно второго этажа. Неужто молятся? – подумал Гейм. Стучать не пришлось, дверь была отперта. Феона Матвеевна спустилась вся в слезах. Она рассказала, что Эразма два

часа назад увезли неизвестные люди в масках. Они ничего не сказали, за что, почему, куда везут. Затолкали в машину и увезли.

– Он ведь безгрешен как дитя! – жаловалась она. – Нет на нем ни единого греха.

– Вы звонили в милицию? – спросил Гейм.

– Звонила, но никто не едет.

Значит, наша спецслужба сработала, подумал Гейм. Определили и поляков и израильтян. Оперативно. Но что скажет им катехизатор? Вряд ли Лавкунов рассказал ему, где спрятал коллайдер. Да и нет его уже там.

Гейм отправился к себе на дачу, а группа Горобца поехала по лесной дороге к шоссе на Минск. Спустия каких-нибудь полкилометра прямо в лобовое стекло их машины ударил яркий свет двух стоявших встречных автомобилей.

– Змагары и свядомыя выходят по одному! – крикнул звонкий молодой голос.

Прямо, как жида и комиссары у немцев, подумал Горобец. Люди в масках сначала повели их в сторону базы КГБ.

– Наверное, там задержат, допрашивать будут, – шепнул Лушкин Субойке.

– Только бы не били, – нервно ответил тот.

Но они обминули базу и подошли к глубокой ложнине, заваленной ветками и разным мусором. Когда их выстроили на краю, Горобец хотел крикнуть «Жыве Беларусь!», но не успел. Короткие выстрелы сразили всю четверку, рухнувшую в ложнину, где чуть в стороне лежало тело катехизатора Вогулю.

XLIV

Правитель внимательно читал принесенный Крейманоном сценарий спортивного праздника в Раубичах.

– Открытие новой лыжероллерной трассы, – недовольно бурчал он. – Тот ли это масштаб мероприятия, требующего моего присутствия?

Шеф Совета безопасности вздохнул.

– Народ знает, как равнодушно вы к вопросам спорта.
– Но ведь параллельно вы запланировали уничтожение группы заговорщиков! И что я – должен выполнять роль наживки? – возмутился Правитель.

Крейман вынул из папки карту.

– Ничего подобного! Открывать трассу будет ваш двойник. А вы будете находиться в специальном бункере, куда на мониторы будет передаваться вся информация о происходящем с помощью установленных на объекте камер. Вот здесь, под стрельбищем, оборудован бункер. Группа биатлонистов-предателей во главе с тренером Васильчуком, по нашей информации, уже получившим деньги от Кириллова, собирается занять позицию вдоль щитов, ограждающих новую трассу. Еще выше, за спинами у них, будут находиться бойцы спецотдела полковника Вдовиченко, которые по моему сигналу уничтожат террористов до того, как они начнут действовать. Будет использовано новейшее оружие, присланное нашими друзьями из Катара. Никакого шума.

Правитель нервно барабанил пальцами по столу.

– Наши друзья... Кусок земли я им на Дубровенском озере тоже не задаром отвалил. Вот ты говоришь, что деньги Васильчук от Кириллова уже получил. А где же те деньги, которые ему в первый раз через Скарбца должны были передать?

– Скарбец, как вы знаете, был убит нашими людьми. А деньги, тогда бывшие при нем, непонятным образом исчезли.

– Свои же и украли! Чего стоит твоя служба безопасности? – гневно выкрикнул Правитель.

– Обязательно установим, кто это сделал. Деньги найдем.

– Да, все вы найдете, и коллайдер и деньги, предназначенные на мое убийство. Пока одни слова. Сколько человек у Васильчука? Небось, лучшие наши стрелки? – устало спросил Правитель.

– Шестеро. Да, все из сборной по биатлону. А наших из спецотдела пятнадцать. Возьмут количеством. И стрелки не хуже васильчуковских

– Что с коллайдером?

– Ищем.

Правитель хотел было сказать, что плохо ищите, но вместо этого дал знак, чтобы Крейман вышел. Собственно, этот чертов коллайдер не нужен был ему. Он не собирался шантажировать им ни Запад, ни Москву. Но обладание этой штуковиной выводило его в первый ряд мировых политиков. Заткнутся все, включая местных националистических шавок, тешивших свое остроумие анекдотами про то, как он подносил кофе Меркель и Олланду во время минских переговоров по Украине.

Да, коллайдер не нужен ему, но раз уж так вышло, было бы глупо отказываться. Вошел помощник, молодой, но со стертым лицом.

– Звонят из Кремля.

Ага, вот и засуетились! Российский президент предлагает свою помощь в поисках коллайдера. Разумеется, большое спасибо! Но мы уже вышли на след. Справимся сами. Понятно, что ФСБ уже ведет у нас свою работу. А еще поляки, израильтяне. Странно, что об американцах не слышно. Эти вроде должны быть впереди всех.

А что такое, собственно, этот коллайдер? Способ угрожать миру? А, может, коллайдер это и есть управляемая демократия? Техническая победа авторитарического азиатства над развращенным Западом. Вот века они спорили, Восток и Запад. А вопрос решился посередке. Ибо что такое Беларусь? Ни Запад, ни Восток. Хотя националисты в кровь убиваются, доказывая западную принадлежность Беларуси. Но ведь была же Литовская Русь – все эти Ольгерды, Витовты, Гедимины... Потом Литва с Польшей повернули на Запад. А Беларусь осталась с восточной Русью, той, которая впитала в себя ордынские традиции. Единоначалие, преклонение пред вождем – все оттуда. Не будь этого у Сталина, рухнул бы в войну с Гитлером Советский Союз. Вот Украина пытается переползти из своего азиатского нутра на западные рельсы. И не получается. И не получится. Развалится на куски это искусственное, из разных кусков сшитое одеяло. Крым ушел... Донецк и Луганск... Очередь за Харьковом, Одессой... Да, мы не Запад... Мы что-то дру-

гое... Но нужно проявлять широту мышления. Почему не сделать некоторые экивоки в сторону националов? Те же вышиванки одобрить. А с георгиевскими ленточками быть построже, мол, не наше это. Мутин такую мелочь стерпит.

Размышления Правителя прервала Евгения. Сквозь рыдания она призналась, что случайно подслушала его разговор с Крейманом.

– Ты не должен ехать на спортивный праздник в Раубичи! – молила она.

Правитель отмахнулся.

– Глупости! Крейман все продумал.

– И хватит этих убийств! Уничтожен цвет белорусской интеллигенции. Марченко убили во время медицинской операции. Женщин не пощадили.

– У Марченко было плохое здоровье. Его оперировали лучшие специалисты. Что же касается этих националистических курв, Станкевичанки и Ледачки, я знаю, что они были твоими подругами, – мрачно сказал Правитель. – Но они были и подругами предателей и сами состояли в заговоре. Может, и ты с ними заодно? Или ты больше с этим отморозком Федором Кирилловым по старой памяти путаешься?

– Ты убьешь его? – крикнула Евгения

– Я вообще никого не убиваю, – ответил Правитель. – Все вопросы решает Крейман.

Евгения прищурилась.

– С командиром спецотдела Вдовиченко.

– Естественно.

– А ты знаешь, как в народе зовут этот спецотдел?

– Ну и как?

– Эскадрон смерти!

– И хорошо. Народ должен иметь страх. Иначе разброд, анархия.

– Тебя убьют, – угрюмо сказала Евгения. – Так кончают все диктаторы. Вспомни, что сделали с Чаушеску. И с твоим великим другом Каддафи.

– Беларусь не Румыния и не Ливия, – возразил Правитель. – И потом... Россия не допустит.

– Вот она-то и будет самой главной в твоей ликвидации.

А ты думаешь, что будешь вечно танцевать между Москвой и Западом? Нет, время таких танцев уже закончилось.

– Это кто тебе сказал? – набычился Правитель.

– Да это многим видно. Кроме тебя. Впрочем, я волнуюсь только за нашего Ванечку. Братья старшие вон как косо на него поглядывают. Чуют наследника, который их прижмет. А у него, кстати, характер еще тот.

– Что ты болтаешь? Ваньке всего четырнадцать.

– Ну и что? – взъерилась Евгения. – Ты собираешься жить вечно? Вон Камиров как мудро поступил, изменил конституцию, теперь его сын может стать президентом в тридцать пять лет. А ты сделай, чтобы с тридцати. Через шестнадцать лет тебе будет почти девяносто. Если доживешь.

– Доживу. Не волнуйся.

– Ну вот и распиши все в конституции. Да ты оглянись. Про Камирова я уже говорила. Алиев сыну страну передал. Назарбаев, безусловно, найдет наследника. А у Ельцина сына не было. Но Россию передал как бы по наследству, кому захотел.

– Престолонаследие предлагаешь учредить?

– Почему нет? Ты же хорошо знаешь историю. Вспомни, какая уособица царила на Руси, пока не решилось дело с престолонаследием. И декабристы, какую кашу заварили из-за тайного завещания Александра Первого.

– Не те времена.

– Так я и говорю. Решай через конституцию, через парламент. Через референдум, наконец. Наш народ податливый, спокойный, он все примет как надо. Да и опыт у тебя какой. На Западе, конечно, пошумят, но скоро успокоятся. Им важно, что у нас стабильность, спокойствие. А какая у нас демократия – им на это наплевать. Им дел на Востоке хватает, Россию надо стреноживать, американцы хотят Евросоюз в узде держать. Что там для них Беларусь...

– А ты мудрая, – потянулся к ней Правитель. – Таких награждать нужно. Иди-ка ко мне.

Евгения хотела отпрянуть, но в следующий миг поняла, что нужно уступить. Хотя страх перед его орудием и тяжелой молотью привычно охватил ее. Но на этот раз он вошел в нее спокойно и даже был нежен. Он ласкал ее

грубо, но это был тот предел нежности, на которую он был способен. Она пыталась отвечать ему и одновременно думала, что нужно позвонить Кириллову, предупредить его.

Правитель быстро утомился и заснул. Во сне ему сначала привиделся Рейнек. Академик грозил пальцем и строго говорил:

– Все уверены, что Коперник победил Птолемея. Но это чушь. Знание двойственно по своей природе. Поэтому выбросьте из головы все эти макро- и микромиры, все эти чертовы электроны и фотоны, нейтрино, кварки и черные дыры. Человек – венец Вселенной и всего, что за ее пределами.

– Но меня информировали... – пытался что-то сказать Правитель.

– Грош цена вашей информации! – грозно заявил Рейнек. – Эйнштейн предсказал черные дыры и кротовые норы. Ну и что? Материя, попадающая в Черную Дыру, испаряется, и неясно, что происходит с информацией, которую она несла. В общем, мир недетерминирован, а следовательно – настоящее не определяет будущее и не может быть использовано для полной реконструкции прошлого.

И тут же появился профессор Гончарик.

– Вы не знаете, с каким огнем играете! – закричал он. – Мой миниколлайдер это только первая ступень. На очереди миниколлайдер-2. И там может быть спровоцирована такая цепная реакция, которая полностью преобразует обычную материю в нечто небывалое, в какую-то странность. Возникнут новые экзотические частицы. Столкновение хотя бы с одной из них может привести к абсолютному изменению самого вещества Земли. Планета может сжаться в шар диаметром до ста метров.

– Как страшно вы говорите, – шептал в ужасе Правитель. – Всего сто метров... Как же мы все уместимся? Господи, да мне и этот коллайдер с Черной Дырой совсем не нужен. А на ближайших выборах два человека из оппозиции будут в парламент допущены. Я так решил. Своего рода уступка Европе. Главное, чтобы Беларуси, стране нашей, было хорошо. Суверенитет сохранить... Для детей наших...

– Беларусь не трожь! Это святая земля! – крикнул Рейнек и исчез.

XLV

Мониторы в бункере работали отлично. Просматривались прекрасно и новая лыжероллерная трасса, и ближайший берег озера и, наконец, само озеро вплоть до расположенной напротив резиденции американского посла. Правитель расположился за столиком с шампанским, но тут же велел унести вино.

– Только чай!

Уничтожение биатлонных террористов во главе с Васильчуком произошло удивительно буднично. Бойцы спецотдела под командой Вдовиченко неожиданно появились за их спинами и беззвучными выстрелами за какой-то десяток секунд или того менее покончили с ними. Все происходило как в немом кино. Потом Правитель увидел, как бойцы спецотдела садятся в скутера, замаскированные под старинные русские лады. Но далее произошло явное нарушение сценария. На середину озера со стороны академического дачного поселка вылетело каноэ. Обнаженный, мощный бронзовый бог управлял им, резко и четко работая веслом.

На одном из мониторов возник Крейман.

– Это Кириллов, – сказал он.

– Что ему надо? – спросил Правитель.

Крейман усмехнулся.

– Наверное, хотел посмотреть, как вас будут убивать купленные им стрелки Васильчука.

– Что будете делать?

– Сейчас увидите.

Тут же полоснула автоматная очередь с одного из скутеров, и бронзовый бог рухнул в воду, каноэ перевернулось. Рука Кириллова дважды взметнулась над водной гладью, которую тут же прорезала новая, вскипевшая фонтанчиками очередь.

Как этот Крейман всегда спешит, подумал Правитель. Но, в общем, сразу нужно было ликвидировать под корень. Иначе дело могло дойти до чего-то похожего на киевский Майдан. Украинский бардак нам не нужен.

Одновременно с Правителем за происходившим на

озере и противоположном берегу наблюдали и с балкона резиденции американского посла. У Смайли в этот день были гости, дипломаты и некоторые деятели оппозиции. Среди приглашенных был и Гейм. Вооружившись биноклями, гости следили за разворачивающимся праздником по случаю открытия новой лыжероллерной трассы. На противоположном берегу выстроились спортсмены в яркой одежде, колыхались на ветру флаги. На трибуне, украшенной национальным гербом, стоял Правитель. Против обыкновения он молчал. Речь произносил на соседней маленькой трибуне министр спорта.

Секретарша Джоди наклонилась к уху помощника посла Роберта.

– Вам не кажется, что Правитель сегодня какой-то непохожий?

– Что вы имеете в виду? – спросил Роберт.

– Ну не знаю, – протянула Джоди, – какой-то он не такой как обычно. Молчит. И вообще выглядит неважно.

Неожиданно среди гостей, стоявших на правом конце балкона, стал нарастать шум. Возникло что-то вроде спора.

– Послушайте, там вроде кого-то убили! – воскликнул первый советник французского посольства Мишель Грандье.

– Не городите чушь! – сказал Смайли. – Кого тут могли убить?

– Но я видел, видел своими глазами! – продолжал кричать Грандье. – Посмотрите направо! На этом каноэ только что сидел человек. А теперь его нет, он упал в воду, и каноэ перевернулось.

– Роберт, – обратился Смайли к помощнику, – вам не кажется, что это каноэ Кириллова?

– Совершенно верно, сэр. Это его каноэ. Он не раз проплывал на нем мимо вашей резиденции.

– Но где же он сам? – растерянно спросил Смайли.

– В самом деле, было что-то похожее на выстрел, только очень слабый, – неуверенно сказала жена английского посла Сьюзен.

– Да-да! – подхватила Джоди. – Я тоже слышала. И после этого человек в каноэ упал в воду.

Пока шел этот взволнованный разговор, ладьи и скутера причалили к берегу, на котором находилась резиденция американского посла. Вышедшие из них бойцы в бронежилетах и масках с автоматами наперевес разделились на две группы. Одна заняла стоявший рядом с резиденцией магазинчик сельпо, выгнав оттуда нескольких испуганных граждан и продавщицу Зину. Четыре бойца залезли на крышу магазинчика и навели автоматы на посольский особняк. Остальные блокировали охрану, состоявшую из двух морских пехотинцев, и распахнули настежь ворота, в которые вошел – Смайли не сразу узнал его – сопровождаемый автоматчиками Барсевич. Один из них кинулся к мачте, на которой развевался звездно-полосатый флаг США, и стал спускать его. Через минуту над резиденцией взвился российский триколор.

– Что происходит? – закричал Смайли. – Опять маскарад? Но это уже переходит все границы!

Барсевич вежливо наклонил голову.

– На этот раз никакого маскарада, господин посол! Отныне эта территория часть Российской Федерации.

– Перестаньте нести чушь! – возмутился Смайли. – И прикажите убираться отсюда вашим ряженым. Я сейчас позвоню в Министерство иностранных дел Беларуси и в Администрацию Правительства. Вас отсюда вышвырнут силой.

Барсевич усмехнулся.

– Звоните. Но должен вам сообщить, как официальное лицо, а я генерал Федеральной службы безопасности России, что суверенного государства под названием Республика Беларусь более не существует. Согласно просьбе Палаты представителей Национального Собрания она вошла в состав Российской Федерации.

– Как? Без референдума? Без участия народа?

– Волю народа выражает парламент! – рубанул рукой Барсевич. – Что касается реакции народа, то включите телевизор, и вы увидите ликующие толпы на улицах и площадях Минска.

Балкон вмиг опустел, все ринулись в гостиную к громадному телеэкрану.

Правителю не нужно было никуда бежать. На стоящем перед ним огромном мониторе происходило нечто фантастическое. На столичных площадях – Октябрьской и Независимости – колыхалось людское море, взнимались государственные флаги России, били в глаза плакаты с надписями «Навеки с Россией!», «Мы один русский народ!» На крыльце Дворца республики окруженный группой генералов стоял Крейман.

– Предали сволочи! – воскликнул Правитель. – Предали! Заманили в этот бункер!

Он бросился к выходу, но дверь была заперта. На экране монитора возникло лицо командира спецотдела Вдовиченко.

– Не суетитесь, – сказал Вдовиченко. – У нас все под контролем.

– Но это государственный переворот! – закричал Правитель.

– Ничего подобного, – уверенно сказал Вдовиченко, – это народная революция, восстание против тирана.

Правитель хотел было закричать в ответ, что он бы мог расстрелять и Креймана и Вдовиченко как организаторов убийств Клитко и Бондаря, b не сделал этого, пощадил, но слова застревали у него в горле. Ну ладно, Крейман, Вдовиченко, генералы... Это профессиональные предатели. Но народ? Народ, для которого он столько сделал? Он укрепил страну, сделал очевидным фактом белорусскую государственность, с которой считался мир. Да, жизнь простого человека трудна. Но не он развалил Союз, не он вызвал мировой экономический кризис. Он дал белорусам все, что мог, – возможность зарабатывать, ездить по миру. Да, демократия была с ограничениями. Но с этим народом без дисциплины будет полный развал. Нет у нас привычки к западной демократии. Мы другой народ. И вот этот другой народ, которому он верил, которого понимал как самого себя, предал его! Погибла Беларусь! А где эти националисты? Почему на площади нет их бело-красно-белых флагов? Где Мазяк и Колунчик? Где Горобец и Субойка?

– Первые два давно в эмиграции. А последних ликвидировали, – равнодушно проинформировал монитор

– Я никого не приказывал ликвидировать! Ни этих, ни Клитко и Бондаря! Это все Крейман! Выслуживался!

– Теперь уже все равно, – донеслось с монитора.

– Что будет со мной? – в отчаянии закричал Правитель.

– Народ решит, – устало ответил Вдовиченко.

Экран монитора погас.

Гейм спустился со второго этажа посольской резиденции во двор.

На лестнице испуганная Джоди сказала ему: «Вас ждут».

Во дворе его ждал черный мерседес, у распахнутой дверцы стоял Барсевич.

– Прошу вас, – сказал он, – едем в столицу.

– Зачем? – обреченно и все зная спросил Гейм.

– Как зачем? – удивился Барсевич. – Вы известный писатель, публицист, известны ваши симпатии к России, как человека, воспитанного в русле русской культуры. И в то же время ваше имя популярно среди немалой части граждан Беларуси. Кому же, как не вам, написать обращение к народу, объясняющее закономерность происшедшего?

– Я не буду ничего писать!

– Это вам только кажется, что не напишете. – уже в машине убеждал его Барсевич. – А на самом деле вы напишете. Уже готовы написать. А как же? Бунин, Чехов, ваш любимый Влас Дорошевич, они бы одобрили.

Машина ехала вдоль озера. На миг Гейму почудилось Свечение где-то на середине спокойной водной глади, сквозь которую проступали лики великих литовских князей и канцлеров. Миндовг, Гедимин, Витовт, Радзивиллы, Сапегы...

Слезы душили его, и он не имел сил скрыть их.

2008–2018 гг.